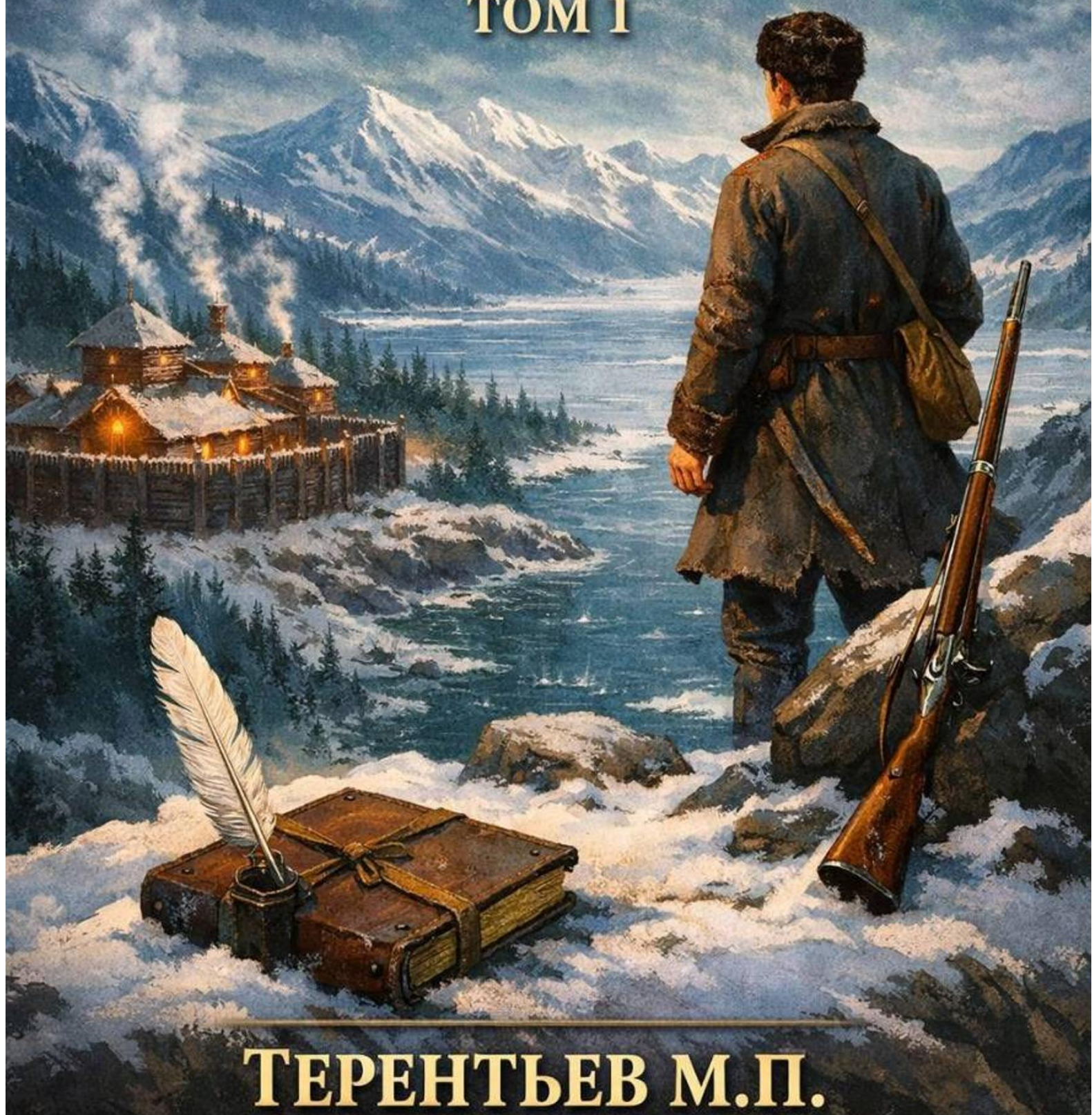


— ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ —

КРАЙ ЗЕМЛИ — И ЧУТЬ ДАЛЬШЕ

ТОМ 1



ТЕРЕНТЬЕВ М.П.

Михаил Терентьев

**Восток - дело тонкое. Том 1.
Край земли — и чуть дальше**

«Автор»

2026

Терентьев М. П.

Восток - дело тонкое. Том 1. Край земли — и чуть дальше /
М. П. Терентьев — «Автор», 2026

Московский менеджер Алексей Мурашов просыпается в теле мелкого чиновника на берегу Охотского моря. За окном — 1786 год, минус тридцать, бревенчатый острог и тайга до горизонта. В кармане — три рубля. В голове — обрывки школьной истории. До весны — четыре месяца. Свечей — на два. Антибиотиков — ноль. Вокруг — казаки, воруемый комендант, каторжники и природа, которой на всех плевать. Единственный союзник — казак Ерофей, чьё молчание красноречивее любых речей. Чтобы дожить до весны, нужно научиться разводить огонь, есть юколу, читать ясачные ведомости лучше, чем Excel, — и не выдать себя. Знания из будущего стоят ровно столько, сколько стоит человек, который за ними стоит. А человек пока мёрзнет. Край земли — и чуть дальше. Туда, где цивилизация заканчивается, а настоящая жизнь только начинается.

Содержание

Глава 1. Добро пожаловать в ад. Он деревянный.	5
Глава 2. Инструкция по выживанию отсутствует.	13
Глава 3. Его превосходительство и прочие стихийные бедствия.	21
Глава 4. Вода, огонь и прочие высокие технологии.	29
Глава 5. Бумага всё стерпит.	36
Глава 6. Сосед, которого не звали.	43
Гл	49
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Восток - дело тонкое. Том 1.

Край земли — и чуть дальше

Глава 1. Добро пожаловать в ад. Он деревянный.

Первое, что я почувствовал, — запах.

Нет, не так. Первое, что я почувствовал, — холод. Такой, от которого сводит пальцы на ногах и хочется подтянуть одеяло к подбородку. Я и подтянул. Одеяло оказалось чем-то жёстким, колючим и пахнущим так, будто в нём до меня спало стадо. Не одеяло. Шуба? Тулуп? Что-то из категории «зимняя одежда, но из другой эпохи».

Вот тут — запах. Дым. Что-то кислое — квашеная капуста? Нет, хуже. Что-то рыбное, тухловатое и одновременно копчёное. И ещё — пот. Чужой. Застарелый. Тот, который не выветривается, а прописывается на ПМЖ.

Открыл глаза.

Темнота. Не полная — где-то справа мерцает огонёк. Лучина? Свеча? Что-то маленькое, рыжее, живое. Потолок — низкий, бревенчатый. Брёвна тёмные, прокопчённые. Стены — такие же. Пол... пол я не вижу, но подозреваю, что он земляной. Или деревянный. В любом случае — не ламинат.

Не ламинат.

Я лежу на чём-то твёрдом. Лавка? Кровать? Доски, накрытые чем-то — вот этим вот тулупом. Подо мной — ещё какая-то тряпка. Под тряпкой — дерево. Спина ноет так, будто я спал на этих досках не одну ночь.

Попытался сесть — и мир качнулся. Голова. Господи, голова. Как после самого жестокого корпоратива в моей жизни, помноженного на грипп и умноженного на что-то, чему я не знаю названия. В висках стучит. Во рту — вкус, который я бы описал как «мёртвая кошка», если бы мёртвая кошка имела вкус. Зубы... зуб шатается. Левый нижний. Я трогаю его языком — и он отвечает болью, от которой темнеет в глазах.

Так. Стоп.

Это не моя квартира. Это не больница. Это не... ничего из того, что я знаю.

Руки. Я смотрю на свои руки — точнее, пытаюсь, потому что темно — и вижу: тонкие, бледные, с длинными пальцами. Мои руки шире. У меня на правой — шрам от ножа для бумаги (офисная травма, звучит смешно, ощущается — нет). Шрама нет. Руки не мои.

Руки. Не. Мои.

Паника — штука интересная. Она не приходит сразу. Сначала — тишина. Мозг просто отказывается обрабатывать информацию, как зависший компьютер: экран есть, а ничего не происходит. Потом — щелчок, и всё разом: сердце бьёт в рёбра, дыхание частит, ладони мокрые. Я бы закричал, но горло — сухое, драное, и вместо крика вышел кашель. Мерзкий, глубокий, из самого нутра. Такой, от которого кажется, что лёгкие пытаются выбраться наружу.

Кашель помог. Серьёзно. Когда ты минуту давишься собственными бронхами, панике как-то некуда втиснуться — все ресурсы уходят на то, чтобы не задохнуться.

Дверь скрипнула. Свет — тусклый, серый — ударил по глазам.

В дверном проёме стоял человек. Среднего роста, широкий в плечах, борода с проседью, лицо обветренное, тёмное — как у людей, которые всю жизнь на ветру. На нём — что-то меховое, тяжёлое, подпоясанное ремнём. На ремне — нож. Настоящий, не декоративный.

Человек посмотрел на меня — и его лицо выразило... облегчение? Да, именно. Как будто он три дня ждал, что я сдохну, и вот — не сдох.

— Ваше благородие, — сказал он хриплым голосом, — очнулись, слава Те Господи. А мы уж за попом послали.

За попом.

Послали.

Нет, подождите. «Ваше благородие»? За ПОПОМ?

Мозг выдал три версии одновременно. Версия первая: реконструкция. Я на каком-то безумном ивенте для любителей исторической реконструкции. Версия вторая: розыгрыш. Коллеги наконец-то решились на что-то масштабное. Версия третья... версию третью мозг отказывался формулировать, потому что версия третья была: это всё по-настоящему.

— Ерофей, — прохрипел я.

Стоп. Откуда я знаю, что его зовут Ерофей? Я его первый раз в жизни вижу. Но имя — выскочило. Само. Как подсказка в приложении, которое ты не устанавливал.

Человек кивнул.

— Ерофей Кондратыч, ваше благородие. При вас состою. Вы трое суток в горячке лежали, бредили — страх Божий. Фельдшер Порфирий Лукич говорил — лихорадка, а я уж думал — не выживете. А вы — вона. Сидите.

Трое суток. Лихорадка. Фельдшер.

Я сглотнул — больно, горло как наждачка — и огляделся. Теперь, когда дверь была открыта, я видел лучше. Изба. Бревенчатая, маленькая, одна комната. В углу — печка, настоящая, из камней и глины, от которой шло тепло — единственное приятное ощущение за последние пять минут. У стены — сундук. Деревянный, окованный железом. На сундуке — свёрнутая одежда. На стене — крест. Медный, потемневший. Больше — ничего. Ни стола, ни стула, ни... ничего.

Добро пожаловать.

— Ерофей, — повторил я (слово «Ерофей» во рту было непривычным, как иностранное, но язык его произносил уверенно, будто много раз говорил), — где я?

Ерофей посмотрел на меня так, как смотрят на человека, который спрашивает, какой сегодня день, после того как три дня провалился в горячке. То есть — с терпеливой снисходительностью.

— Охотск, ваше благородие. Острог Охотский. Куда ж вас прислали — тут вы и есть.

Охотск.

Охотск — это... это на Дальнем Востоке. Тихий океан. Охотское море. Это я знаю — из школьной географии, из каких-то полузабытых уроков, на которых я рисовал в тетради роботов вместо того, чтобы запоминать названия городов. Охотск — порт. Был портом. Когда-то. В каком-то веке.

В каком веке я?

Кашель снова накрыл — и пока я давился, Ерофей молча подошёл, подал мне деревянную кружку с чем-то тёплым. Я глотнул. Вода. Тёплая, с привкусом дыма и чего-то травяного. Но — вода. Лучшая вода в моей жизни. Без шуток.

— Какой нынче год? — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал нормально. Не получилось. Голос был чужой — выше, чем мой, и хриплый от болезни.

Ерофей мигнул. Один раз. Медленно. Так мигают люди, которые думают: «Повторить вопрос или сразу звать попа?»

— Тысяча семьсот восемьдесят шестой от Рождества Христова, ваше благородие. Сентябрь. Двадцать третье число.

Тысяча семьсот восемьдесят шестой.

Я закрыл глаза. Открыл. Потолок всё тот же. Бревенчатый. Прокопчённый. Никуда не делся.

1786 год. Сентябрь. Охотск.

Информация провалилась в мозг — и мозг начал считать. Автоматически, как калькулятор. 2024 минус 1786 равно 238 лет. Двести тридцать восемь лет назад. Екатерина II на троне. Потёмкин ещё жив — кажется. Французская революция — через три года. Пушкин — ещё не родился. Не. Родился. Блин, какой Пушкин, до Пушкина тут ещё лет тринадцать. Или больше? Когда он родился, в 1799-м? В школе точно говорили. Я точно не слушал.

Ладно. Пушкин подождёт. Мне бы выжить.

— Ерофей, — сказал я в третий раз (имя уже звучало привычнее, и это пугало), — принеси мне... воды ещё. И... зеркало. Есть зеркало?

Ерофей хмыкнул. Не усмехнулся — именно хмыкнул, одним носом, как человек, который услышал глупость, но слишком вежлив, чтобы это озвучить.

— Зеркала нету, ваше благородие. Откудова? Вот ежели у коменданта спросить — у его супружницы, сказывают, было. Было ли, нет ли — не ведаю. А воды — сей момент.

Он вышел, и я остался один.

Один. В 1786 году. В Охотске. На краю земли — буквально, не метафорически.

Паника вернулась. На этот раз — полноценная, со всеми спецэффектами: руки трясутся, во рту сухо, в животе — ледяной ком. Я прижал ладони к лицу — чужому лицу, с чужой кожей, с чужой щетиной — и дышал. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Техника, которую мне когда-то объясняла бывшая: «Когда паника — просто дыши, считай до десяти, и отпустит». Не отпустило. Но хотя бы не стало хуже.

Ладно. Раскладываем по полочкам. Я — Алексей Мурашов, 31 год, тимлид в IT-компании, Москва. Вчера — нет, какое «вчера»? — в последний момент, который я помню, я ехал в такси с корпоратива. Дождь. Раздражение. Усталость. Уснул. Проснулся — здесь. В теле другого человека. В XVIII веке. На Дальнем Востоке.

Это невозможно.

Это — происходит.

Ладно.

Я поднялся. Ноги — ватные, слабые, чужие. Это тело — моложе моего (двадцать пять, прикинул я, глядя на руки), но в состоянии, которое фитнес-тренер из моего бывшего зала описал бы словом «катастрофа». Худое, с выступающими рёбрами — я чувствовал их через рубаху, — слабое, с лёгкими, которые свистели на каждом вдохе. Прежний хозяин этого тела, кем бы он ни был, явно не злоупотреблял спортом. Да и едой, судя по рёбрам, тоже.

Шаг. Второй. Пол оказался деревянный — доски, грубо тёсанные, с щелями. Холод от пола лез в босые ступни и поднимался выше, к коленям. Где обувь? Я осмотрелся: у печки стояли сапоги. Кожаные, стоптанные, с заплатой на левом. Мои? Его? Наши? Я натянул — великоваты, но терпимо. Портянки — тряпки, намотанные на ноги вместо носков. Об этом я, кажется, читал. Или видел в фильме. Или это было мемом. Неважно. Портянки нашлись тут же — серые, мятые, пахнущие соответственно. Наматывать я их не умел, но ноги в тряпку завернул — и уже теплее.

Сундук. Вот что мне нужно.

Я открыл крышку — не заперто — и начал инвентаризацию. Это я умею. Это я делал тысячу раз: приходишь на проект, первым делом — аудит. Что есть, чего нет, где дыры. Неважно, проект это или сундук в избе на краю ойкумены, — принцип один.

Итак. Содержимое сундука коллежского регистратора Вершинина — потому что на крышке, с внутренней стороны, чернилами было выведено: «А.И. Вершининъ». Буква «ъ» на конце. Ять. XVIII век, всё правильно.

Рубаха — запасная, льняная, жёлто-серая, с пятном на груди.

Штаны — суконные, тёмные, заштопанные на колене.

Шинель — казённая, серая, потёртая. Вот кто пахнет стадом — она. Но тёплая, и это главное.

Исподнее — комок ткани, который я предпочёл не рассматривать подробно.

Бумаги. Вот это — интересно.

Пачка документов — точнее, несколько листов, свёрнутых трубкой и перевязанных бечёвкой. Я развернул. Почерк — красивый, с завитушками, совершенно нечитаемый. Нет, подождите — читаемый. Я вчитался — и буквы начали складываться в слова. Не сразу, с усилием, как текст на иностранном языке, который ты когда-то учил и почти забыл. Но — складывались. Это тело помнило, как читать. Или мозг помнил. Или — что-то помнило.

«Предписание. Коллежскому регистратору Алексею Иванову сыну Вершинину надлежит по прибытии в Охотский порт явиться в Канцелярию Охотского правления для несения службы при оной канцелярии в должности приказного, согласно распоряжению Иркутской губернской канцелярии от 14 июня 1786 года...»

Коллежский регистратор. Четырнадцатый класс. Я не помнил табель о рангах — зачем бы мне? — но слово «четырнадцатый» всплыло откуда-то, и я знал: это дно. Самый низ. Мельче не бывает. Ноль в иерархии. Младший стажёр на испытательном сроке, только в XVIII веке.

Прекрасно.

Ещё документы: подорожная — проездной документ от Иркутска до Охотска. Дата — июль 1786-го. Значит, Вершинин — я? нет, он — добирался два месяца. Из Иркутска. Верхом? На телеге? По тайге? Два месяца? Я пытался представить — и не мог. Два месяца без... без всего.

Деньги. В кошельке — замшевом, вытертом — три рубля серебром. Три монеты, тяжёлые, с профилем Екатерины. Много это или мало? Понятия не имею. В 2024-м я бы загуглил. Здесь — придётся спрашивать.

Гуглить. Если бы я мог гуглить. Одна секунда — и я знал бы всё: год, место, кто тут правит, какие цены, что есть и чего опасаться. Одна секунда — и у меня была бы карта, прогноз погоды, переводчик и онлайн-курс «Как выжить в XVIII веке для чайников». Но гуглить я не могу. И не смогу. Никогда.

Эта мысль — «никогда» — ударила так, что я сел обратно на лавку. Просто — подкосились ноги, и я сел.

Никогда.

Ни интернета, ни телефона, ни электричества, ни горячей воды, ни кофе, ни обезболивающего, ни антибиотиков, ни зубного врача — и вот зуб шатается, и до ближайшего стоматолога двести тридцать восемь лет, а если считать в пространстве — месяцы пути до чего-то хоть отдалённо напоминающего город. Ни машин, ни дорог, ни... ничего. Ничего, что делает жизнь хотя бы терпимой.

Ладно. Хватит.

Я потёр лицо ладонями — это чужое лицо, с чужими скулами, с чужой трёхдневной щетиной — и сказал себе то, что говорил на каждом провальном проекте, на каждом дедлайне, после каждого разговора с начальством, когда хотелось уволиться и уехать жить в горы:

Не умер — уже плюс. Разберёмся.

Мантра так себе. Но работает.

Ерофей вернулся с водой — в деревянном ведёрке — и застал меня на ногах, одетого в штаны из сундука и рубаху (пятно на груди — кажется, чернила). Он остановился в дверях и посмотрел на меня оценивающе. Так смотрят на лошадь перед покупкой: жива ли, не хромает, потянет ли воз.

— Ваше благородие, — сказал он осторожно, — вам бы ещё полежать. Лихорадка — дело нешутейное. Порфирий Лукич велел — покой и питьё.

— Порфирий Лукич — это фельдшер?

— Он самый. Фельдшер при остроге. Человек учёный, — Ерофей помедлил, — хоть и выпивает.

«Хоть и выпивает» — в устах человека XVIII века на Дальнем Востоке это, подозреваю, значит «пьёт как сапожник, но руки пока не трясутся». Учту.

— Ерофей, — я решил действовать по единственному плану, который у меня был, а именно — план «Собери информацию и не умри», — Расскажи мне... напомни мне... — я быстро поправился, — после лихорадки в голове мутно. Где мы, что за место, кто здесь главный.

Хороший ход. Больной после лихорадки — имеет право путаться. Надеюсь.

Ерофей поставил ведёрко на пол, сел на чурбан у печки — единственную «мебель» помимо лавки — и начал говорить. Говорил он неторопливо, каждое слово как камень кладя, — ничего лишнего, ничего для красоты. Информация в чистом виде. Мне понравилось. Будь он моим коллегой в XXI веке — я бы написал в отзыве: «Отличная коммуникация. Без воды».

Итак. Охотск. Острог при устье реки Охоты, на берегу моря, которое тоже Охотское, — монополия на название, не иначе. Порт. Единственная морская связь с Камчаткой, Алеутскими островами и — куда-то дальше, я не дослушал, потому что закашлялся. Гарнизон: полторы сотни казаков — «кто ноги передвигает», уточнил Ерофей, из чего я заключил, что передвигают не все. Комендант — Иван Тихонович Брылкин, «капитан при должности», то есть в отставке, но командует, потому что больше некому. Канцелярия — три человека: писарь Кукушкин (Ерофей произнёс фамилию с интонацией, которую я бы описал как «осторожное неодобрение»), подканцелярист, чьё имя я не расслышал, и теперь — я. Алексей Иванович Вершинин. Коллежский регистратор. Приказный.

Приказный — это, как я понял, человек, который ведёт бумаги. Переписывает, составляет ведомости, заверяет документы. Секретарша, если грубо. Только мужик, в шинели и с гусиным пером вместо клавиатуры.

— А что за море? — спросил я, кивнув в сторону окна.

Окно — это сильно сказано. Дыра в стене, закрытая чем-то полупрозрачным. Пузырь? Слюда? Через неё виден свет, но не мир.

Ерофей посмотрел на меня. Долго. Молча. Одним из тех своих молчаний, которые — я уже начинал понимать — значили больше, чем слова.

— Охотское, ваше благородие, — сказал он наконец. — Как и было, когда вы приехали. Никуда не делось.

Вот и первый тест: я спросил глупость. Вершинин, понятное дело, знал, какое за окном море. Он сюда два месяца добирался, ради этого самого моря. А я — спросил. И Ерофей заметил.

Ерофей вообще, кажется, из тех, кто замечает всё. Лицо — непроницаемое, как VPN. Но глаза — внимательные. Цепкие. Глаза человека, который привык оценивать ситуацию быстро, потому что от этого зависит, будешь ли ты жив через минуту.

— Лихорадка, — повторил я. — В голове путается. Извини, Ерофей.

Он кивнул. Принял. Или сделал вид, что принял. С ним пока непонятно.

— Ваше благородие, — сказал он, вставая, — вам бы поесть. Я Матрёне скажу — принесёт чего.

— Матрёна?

— Кухарка при канцелярии. Вдова казацкая. Стряпает.

— Хорошо стряпает?

Ерофей снова помедлил. Подбирал слова — или решал, стоит ли отвечать честно.

— Стряпает, — сказал он.

Без прилагательного. Понятно. Будем считать это рецензией.

Он вышел, а я подошёл к окну. Отодвинул — пузырь, это точно пузырь, бычий или рыбий — и выглянул.

Воздух ударил в лицо. Холодный, мокрый, солёный — с привкусом моря, тайги и дыма. Температура — градусов пять, может, семь. Сентябрь, напоминаю. Дальний Восток, побережье. Здесь в сентябре — то, что в Москве в ноябре. Или хуже.

А за окном — мир. Новый, старый, чужой, мой — не знаю.

Острог. Бревенчатый частокол — высокий, потемневший, с заострёнными верхушками. За частоколом — избы. Четыре? Пять? Приземистые, бревенчатые, с крышами из дёрна или коры. Между ними — раскисшая земля, вместо дорожек — доски, брошенные в грязь. Амбар — длинный, низкий, с огромным замком на двери. Что-то ещё — казарма? склад? — бревно к бревну, без окон. И — люди. Двое казаков у амбара — в меховых шапках, с чем-то длинным на плечах (ружья? мушкеты? я не различаю). Баба с ведром — закутанная, неузнаваемая. Собака — тощая, рыжая, с виноватым выражением лица.

А за частоколом — тайга. Тёмная стена леса, уходящая во все стороны. Ели? Лиственницы? Что-то хвойное, зелёно-чёрное, густое, бесконечное. И — слева, за крышами, за частоколом — серая полоса. Море. Охотское море. Тяжёлое, свинцовое, без горизонта — небо и вода одного цвета, и не поймёшь, где кончается одно и начинается другое.

Красиво.

Страшно.

Но — красиво.

Я стоял, и ветер трепал чужие волосы на чужой голове, и солёный воздух обжигал чужие лёгкие, и я думал: вот. Вот оно. Край земли. Дальше — только вода, и за водой — ещё вода, и потом — Камчатка, Алеуты, Аляска. Места, о которых я знаю из видео, которые включал фоном во время еды, а люди вокруг меня — из собственной жизни. Для них это не «экзотика» и не «контент». Для них это — понедельник.

Мой понедельник.

Стоп. Какой сегодня день? Вторник? Среда? Неважно. Здесь дни недели значат одно: до воскресенья — работа, в воскресенье — церковь. Выходных нет. Отпуска нет. «Сменить обстановку» — это когда тебя переводят из одного острога в другой.

Я закрыл окно. Сел на лавку. Взял кружку с водой — и обнаружил, что руки дрожат.

Ладно, Мурашов. Ладно. Давай по пунктам. Любую задачу можно разбить на подзадачи, и тогда она перестаёт выглядеть как конец света.

Пункт первый: я жив. Тело работает — плохо, но работает. Кашель, слабость, шатающийся зуб — но ноги ходят, руки держат, мозг функционирует.

Пункт второй: у меня есть легенда. Я — Вершинин. Коллежский регистратор. Назначен в Охотск. Документы — в наличии. Никто не знает, как выглядел настоящий Вершинин до приезда — он добирался из Иркутска, и «лихорадка» списывает любые странности в поведении. Пока списывает.

Пункт третий: у меня есть ресурсы. Три рубля. Шинель. Сундук. И — Ерофей. Человек, который, кажется, обязан при мне находиться и который пока относится ко мне как к... как к чему-то среднему между начальством и домашним животным. Что ж, бывало хуже.

Пункт четвёртый: мне нужно понять, что знает это тело. Имя — Вершинин — выскочило само. Имя Ерофея — тоже. Я читаю рукописный текст XVIII века — с трудом, но читаю. Какие-то навыки, какие-то обрывки памяти прежнего хозяина — остались. Или проявляются. Это... полезно. И жутко.

Пункт пятый — главный: не спалиться. Не ляпнуть лишнего. Не сказать «окей». Не пожать руку. Не спросить, где розетка. Не выругаться по-английски. Не посмотреть на небо в поисках самолёта. Я — Вершинин. Мелкий чиновник. Мне двадцать пять лет, я приехал из Иркутска, у меня лихорадка и плохая память. Всё остальное — мои проблемы.

Дверь снова скрипнула. На пороге стояла женщина — крупная, широкобёдрая, с лицом, красным от печного жара, в платке и переднике, заляпанном чем-то тёмным. В руках — миска. Деревянная, с ложкой.

— Матрёна, — сообщила она, будто ставя печать. — Вот. Ешь, барин. А то — одни мощи.

Миска — передо мной на лавке. В ней — юкола. Сушёная рыба, размоченная в кипятке. Я знаю, что это юкола, потому что это тело знает. Выглядит — как то, что кот оставил бы в миске, решив, что это несъедобно. Пахнет — рыбой. Очень. Рыбой. Очень-очень рыбой.

Я попробовал.

Знаете, в моём прошлом-будущем есть модные рестораны, где подают «деконструированную рыбу» на тарелке из вулканического камня за три тысячи рублей. Юкола — это деконструированная рыба. Только без тарелки, без камня и за ноль рублей. Вкус — дым, соль и отчаяние. Текстура — что-то среднее между картоном и подошвой.

Я съел всё. До капли. Потому что тело было голодным — голодным по-настоящему, на клеточном уровне, тем голодом, который не знает слова «невкусно».

Матрёна смотрела одобрительно. Ерофей, вернувшийся следом, — тоже.

— Ваше благородие, — сказал он, когда Матрёна забрала миску и ушла, одарив меня взглядом, который, видимо, означал «поправляйся, а то кого кормить буду», — к вам бы комендант хотел...

Он не договорил. Посмотрел на меня — бледного, трясущегося, в штанах с чужого плеча, — и сам себя перебил:

— Завтра. Скажу — завтра придёте. Нынче вам ещё лежать надобно.

— Спасибо, Ерофей.

Он дёрнул бровью. Видимо, «спасибо» от начальства — не частое слово в этих краях.

— Службу несу, ваше благородие, — сказал он и вышел. Но на пороге остановился. Обернулся. Посмотрел на меня — долго, с выражением, которое я не смог прочитать. Потом сказал: — Рады, что живы.

И закрыл дверь.

Я лёг на лавку. Натянул тулуп до подбородка. Закрыл глаза.

1786 год. Охотск. Край земли. Тело чужое. Жизнь чужая. Вокруг — тайга, море, мороз и полторы сотни человек, которые считают меня коллежским регистратором Вершининым. И я должен быть Вершининым — потому что другого варианта нет. Варианта «проснуться» нет. Варианта «перезагрузить» нет. Ctrl+Z не работает. Здесь вообще ничего не работает — кроме печки, и ту надо топить вручную.

Вручную. Всё — вручную. Вот оно, моё будущее. Точнее — моё прошлое. Точнее — моё настоящее.

Блин.

Но — жив. Не умер — уже плюс. Есть крыша, есть печка, есть юкола (пусть она и ужасна), есть Ерофей (пусть он и подозрителен). Есть бумаги, есть имя, есть работа. Есть — *шанс*.

За стеной — ветер. Охотское море гудит низко, утробно, как зверь за забором. Лучина потрескивает. Тулуп пахнет. Зуб ноет. Лёгкие свистят.

А где-то — в 2024 году, в Москве, в дожде — едет такси, в котором спит человек, который был мной. Или я — был им. И никто этого не заметит. Никто не позвонит. Никто не напишет в мессенджер: «Лёха, ты где?» Потому что — кому? Бывшей, которая забрала кота и номер удалила? Коллегам, которые в понедельник просто решат, что я заболел? Маме, которая звонит раз в месяц и не заметит паузы?

Вот это — большее всего. Не XVIII век. Не тайга. Не юкола. А то, что в XXI веке моё исчезновение заметят через неделю. Может быть. Если вспомнят.

Ладно. Хватит.

Я перевернулся на бок. Зуб дёрнул болью, лёгкие засвистели, тулуп сполз. Я подтянул его обратно.

Завтра — комендант. Послезавтра — канцелярия. Через неделю — зима. Настоящая, дальневосточная, минус тридцать и темнота по восемнадцать часов в сутки.

Завтра начнём. А сегодня — спать.

Лучина догорела. Стало темно. Море за стеной гудело. Ветер свистел в щелях. Откуда-то — лай собаки, далёкий и тоскливый.

Край земли — и чуть дальше.

Спокойной ночи, Алексей Иванович.

* * *

Казак Ерофей Кондратьевич Дымов сидел в казарме и чистил ружьё. Ружьё было старое, пицаль ещё деда, но Ерофей верил: ружьё без чистки — палка, а палкой медведя не возьмёшь.

Рядом сопел Силантий — здоровый, как лиственница, и такой же бесполезный в разговоре. Но сопел он со значением, потому что ждал новостей. Казарма ждала новостей. Весь острог — полторы сотни душ, считая собак и не считая коменданта, — ждал новостей: выживет приказный или не выживет.

Не то чтобы кому-то было до приказного дело — приказные приезжали и уезжали, и толку от них было, как от козла молока. Но помирать в остроге — плохая примета. Особенно в сентябре. Зима на носу, и начинать её с покойника — спасибо, не надо.

— Ну? — спросил Силантий.

— Живой, — сказал Ерофей. — Встал. Поел.

— И чего?

— Ничего. Станный.

— Пьяный?

— Не. Станный. — Ерофей помолчал, проводя тряпкой по стволу. — До лихорадки — тихий был, забитый. Кашлял, в угол смотрел, слова лишнего не сказал. А нынче — другой. Вопросы задаёт. Глазами — зырк-зырк, будто всё первый раз видит.

— Может, лихорадка мозги встряхнула.

— Может, — сказал Ерофей.

Помолчал.

— «Спасибо» мне сказал, — добавил он.

Силантий перестал сопеть. Посмотрел на Ерофея. Ерофей посмотрел на ружьё.

— Ну и дела, — сказал Силантий.

— Ну и дела, — согласился Ерофей.

За стеной казармы гудело Охотское море. Ветер нёс с собой запах соли, тайги и первого снега.

Глава 2. Инструкция по выживанию отсутствует.

Утро началось с того, что я чуть не убил себя печкой.

Нет, *серьёзно*. Я проснулся от холода — лучина давно погасла, печь остыла, в избе было градусов пять, может, три, и дыхание шло паром. Тело ныло, кашель никуда не делся, зуб по-прежнему шатался — но голова была яснее, чем вчера. Яснее — не значит веселее. Просто мозг перестал зависать на слове «1786» и начал работать в штатном режиме.

Штатный режим подсказывал: холодно. Надо затопить печь. Дрова — вот они, у стены, короткие берёзовые поленья. Спички... нет спичек. Спички изобретут через полвека. Или через сорок лет. Или — фиг знает когда, я не помню, в какой именно момент истории человечество догадалось, что серу можно намазать на палочку. В любом случае — не сейчас и не здесь.

Чем разводят огонь в XVIII веке? Кремень? Кресало? Трут? Слова я знал — из фильмов, из каких-то обрывков. Кремень — камень. Кресало — железная штука. Трут — сухая фигня, которая загорается. Конкретики — ноль.

Я нашёл огниво на полке у печки — кожаный мешочек, в котором лежали: кусок кремня (серый, неровный), кресало (стальная загогулина) и трут (высушенный гриб? тряпка? что-то мягкое и коричневое). Технология, судя по всему, простая: бьёшь кресалом по кремню — летят искры — искры падают на трут — трут тлеет — раздуваешь — огонь.

Простая. Ха.

Бью. Ничего. Бью сильнее. Искра — одна, жалкая, улетела мимо. Бью ещё. Кресало соскальзывает — и я со всей дури бью себя по пальцам. Больно. Очень больно. Палец — в кровь. В XXI веке я бы залепил пластырем и забыл. Здесь пластыря нет. Здесь — тряпка, оторванная от подола рубахи, и надежда, что не загноится.

Десять минут. Пятнадцать. Двадцать. Искры летят — мимо. Трут не загорается. Руки замёрзли, пальцы не гнутся, разбитый палец пульсирует. Я сижу на полу перед печкой, в тулупе, с кресалом в одной руке и кремнём в другой, и чувствую себя неандертальцем. Даже хуже — неандерталец хотя бы умел это делать.

Дверь скрипнула.

Ерофей. Разумеется.

Он остановился на пороге, посмотрел на меня — на полу, перед холодной печкой, с огнивом в руках и кровью на пальцах, — и его лицо ничего не выразило. Совсем ничего. Это «ничего» было красноречивее любой мимики. Это «ничего» означало: «Я видел вещи пострашнее, но вот это — тоже запомню».

— Ваше благородие, — сказал он ровным голосом. — Позвольте-ка.

Он присел, взял у меня огниво — аккуратно, как у ребёнка забирают ножницы, — и в три удара высек искру. Трут задымился. Ерофей нагнулся, дунул — раз, другой — и вот уже лучинка занялась, и от лучинки — берёста, и от берёсты — поленья. Тридцать секунд. Максимум сорок.

— Спасибо, — сказал я.

— Ваше благородие, — он чуть помедлил, — может, вам утрами меня кликать? Я рядом — в казарме.

Перевожу с казачьего: «Барин, вы без присмотра — угроза для себя и окружающих».

— Кликну, — согласился я, решив, что гордость — роскошь, которую я сейчас не могу себе позволить. — Ерофей, а покажи мне... напomini, как с огнивом управляться. Я после болезни — руки не слушаются.

Ерофей посмотрел на мои руки. Потом — на огниво. Потом — снова на меня.

— Покажу, — сказал он.

И показал. Терпеливо, молча, повторяя раз за разом. Как держать кресало — вот так, наискось. Как бить — коротко, резко, не размахиваясь. Куда класть трут — под искру, не над ней. Я повторял. Получалось паршиво, но через полчаса — получилось. Одна искра. Одна тлеющая точка на трutowике. Я подул — и она разгорелась.

— Ну вот, — сказал Ерофей. Без похвалы, без иронии. Просто — констатация факта. Огонь есть.

Достижение разблокировано: развести костёр в XVIII веке. Потрачено: тридцать минут, один палец, остатки достоинства.

Вот так прошло моё первое утро. И, скажу вам, это было только начало.

Следующие три дня я провёл в режиме, который в моей прежней жизни назывался «онбординг нового сотрудника», а здесь мог бы называться «не сдохни и не спались». Задача-минимум: понять, как устроен этот мир, запомнить, кто есть кто, и не сделать ничего такого, что заставит окружающих задуматься — а не подменили ли приказного.

Задача-максимум: та же, но с улыбкой.

Наблюдай, собирай данные, ищи закономерности, делай выводы. Ошибки — неизбежны. Главное — чтобы ошибки были мелкие и списывались на лихорадку. Лихорадка — мой главный актив. Пока люди верят, что я «после болезни в голове мутно», — у меня есть фора.

День первый после пробуждения ушёл на базовое выживание. Я учился заново: одеваться (портянки — три попытки, прежде чем Ерофей молча показал, как наматывать, и это, между прочим, целая наука, похлеще тригонометрии), умываться (ведро с водой из колодца, температура — примерно «ой, мамочки», полотенце — тряпка, мыло — отсутствует как класс), ходить в туалет (отхожее место — дощатая будка за амбаром, где ветер дует снизу, и я теперь понимаю, почему в XVIII веке все болели).

Туалет заслуживает отдельного абзаца. Нет, пожалуй, не заслуживает. Скажу одно: тёплый туалет — это то, чего я буду скучать больше всего. Больше интернета. Больше кофе. Больше всего. Это не обсуждается.

Ел я два раза в день. Утром — каша из какой-то крупы, серо-бурая, безвкусная, как обойный клей, но горячая. Вечером — юкола. Опять юкола. Рыба тут — всё. Завтрак, обед, ужин, валюта, стратегический запас. Матрёна приносила миску, ставила на лавку и смотрела, пока я не доем. Контроль порций наоборот: не «хватит жрать», а «жри давай». Мне нравилась Матрёна. Она напоминала мне свекольный борщ — грубая, простая, горячая и почему-то утешительная.

— Барин, — сказала она на второй день, — вы бы хоть в баню сходили. От вас дух — как от козла.

Баня. Баня! Тут есть баня?

— Есть, — подтвердил Ерофей. — Казённая. По субботам топят.

Сегодня среда. До субботы — три дня. Три дня в теле, которое не мылось... я даже не хочу считать, сколько. Вершинин два месяца добирался из Иркутска. Два месяца верхом, без души, без ванны, без — ладно, не будем.

Суббота. Ждём субботу. Суббота — мой новый праздник. Суббота — мой новый Новый год.

Второй день я потратил на разведку.

Ерофей водил меня по острогу, и я смотрел. Смотрел как человек, который первый раз в жизни видит живой музей — только без табличек «руками не трогать» и без кафе на выходе.

Острог Охотский — это... как бы описать. Представьте дачный посёлок. Теперь уберите электричество, водопровод, асфальт, магазин и надежду. Добавьте частокol, пушку (одну, ржавую, у ворот — «для порядку», как сказал Ерофей), казарму, амбар, канцелярию и запах, который является третьим постоянным жителем после людей и собак.

Население — полторы сотни душ, если считать всех, включая казаков, их семьи, нескольких «вольных» промышленников, двух ссыльных, одного попа, одного фельдшера и одного коменданта, который, по версии Ерофея, «командует исправно, когда не в настойке». Формулировка дипломатичная. Я оценил.

Канцелярия — отдельная изба, побольше моей, но не сильно. Одна комната, разделённая перегородкой. По одну сторону — два стола, по другую — шкаф с документами. Шкаф — это, конечно, громко сказано: полки из необструганных досок, на которых стопками лежат бумаги, свитки, книги. Пыль. Запах старой бумаги, чернил и чего-то кислого — не иначе, мыши.

Я стоял в дверях и думал: вот оно, моё рабочее место. Только без кондиционера, кулера, кофемашины и, что самое обидное, без монитора. Вместо монитора — стопка бумаг. Вместо клавиатуры — гусиное перо. Вместо мышки — мышь. Настоящая. Вон она, в углу шмыгнула.

Добро пожаловать в офис.

— Игнатий Саввич, — позвал Ерофей в глубину комнаты. — Тут к вам. Приказный новый. Очнулся.

Из-за перегородки вышел человек — и я мгновенно понял две вещи. Первая: этот человек невидим. Не в смысле прозрачный — в смысле незаметный. Маленький, сутулый, с лицом, которое ты забудешь, пока моргаешь. Серые волосы, серая одежда, серые глаза за стёклами — стоп, очки? Нет, не очки. Он просто прищуривается. Близорукий. Пальцы — в чернилах, стёршихся до синевы в кожу, будто чернила стали частью человека.

Вторая вещь, которую я понял: этот человек видит меня насквозь. Потому что его блёклые, близорукие глаза — когда он поднял их на меня — оказались внимательными. Не просто внимательными — сканирующими. Глаза человека, который двадцать лет сидит в комнате с бумагами и видит из этой комнаты абсолютно всё, что происходит в остроге. И за его пределами. И, возможно, в соседних губерниях.

Кукушкин. Игнатий Саввич.

Тег: опасен. Полезен. Держать близко.

— Алексей Иванович! — Кукушкин подошёл мелкими шажками, поклонился — коротко, точно, без подобострастия и без высокомерия, идеально выверенный поклон человека, который кланялся начальству всех сортов и знает амплитуду до миллиметра. — Наслышан-с. Рады, что оправились. Лихорадка — дело нешуточное, ох нешуточное. Прежний подканцелярист, Фомин, — Царствие ему Небесное — тоже лихорадку подхватил и в неделю угас. Так что вы, можно сказать, в рубашке родились.

Три предложения — и я уже знаю: прежний коллега умер, я занял место мертвеца, и Кукушкин хочет, чтобы я это понимал. Не угроза — информация. Контекст. «Добро пожаловать, и помни: здесь умирают».

— Благодарю, Игнатий Саввич, — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал по-чиновничьи. — Рад познакомиться. То есть — рад возобновить... после болезни...

Стоп. Вершинин уже знал Кукушкина? Или не знал? Он приехал — и сразу слёг. Успели ли они пересечься? Я не знал. И вот это — опасно. Каждая такая мелочь — потенциальный прокол.

Кукушкин наклонил голову. Чуть. Как птица — да, он был похож на птицу. На кукушку, прости Господи. Маленькая серая птица, которая подкладывает яйца в чужие гнёзда и наблюдает.

— Мы познакомились накоротке, Алексей Иванович, — сказал он мягко. — В день вашего прибытия. Вы были уже нездоровы, так что неудивительно, что запамятовали. Совершенно неудивительно.

Спасибо, Кукушкин. Ты только что закрыл мне дыру в легенде — и одновременно показал, что заметил: я не помню. Изящно. Профессионально. Жутковато.

— Позвольте показать вам ваше место, — он повёл рукой к столу у окна. — Перо, чернильница, песок для присыпки, бумага — казённая, имейте в виду, её беречь надобно, ибо следующая партия — весной. Ведомости, которые надлежит переписать, — вот здесь. Реестр ясачного сбора — вот. Опись амбарного имущества — вот. Если что непонятно — я всегда рядом.

Он улыбнулся. Улыбка была тёплая, доброжелательная и совершенно непроницаемая.

Я сел за стол. Передо мной — стопка бумаг, чернильница (чёрная жижа с запахом железа), гусиное перо (настоящее, с настоящего гуся, ещё с пухом у основания) и — тишина. Ерофей остался у двери. Кукушкин вернулся за перегородку. Скрип его пера — ровный, непрерывный, как звук принтера — заполнил комнату.

Ладно. Приступаем.

Я взял перо. Обмакнул в чернильницу. Поднёс к бумаге.

И — ничего. Рука не знала, как это делать. То есть — тело Вершинина знало. Где-то в мышечной памяти этих тонких пальцев хранился навык каллиграфии. Но моя голова — голова человека, который последние пятнадцать лет набирал текст на клавиатуре — не могла этот навык активировать. Перо ткнулось в бумагу, оставило кляксу и поехало вбок.

Клякса. Первое, что я создал в XVIII веке, — **клякса**.

Подавив желание сказать неприличное слово (какое — не скажу, здесь дамы... точнее, здесь Матрёна, но суть та же), я попробовал ещё раз. Медленнее. Аккуратнее. Буква «А». Получилось... что-то. Кривое, косое, с хвостом, уходящим в другое измерение, — но узнаваемо. Буква «л». Хуже. Буква «е». Совсем плохо. «Алексей» — слово из семи букв — заняло у меня три минуты и выглядело так, будто его писал пьяный паук.

Из-за перегородки — тишина. Скрип кукушкинского пера прекратился. Он слушал. Он слышал мои мучения с чернильницей — и молчал. И в этом молчании было всё: и любопытство, и оценка, и, может быть, — капелька злорадства. А может — сочувствие. С Кукушкиным не поймёшь.

Через час я мог написать свою фамилию — «Вершининъ» — так, чтобы она не выглядела предсмертной запиской. Через два — переписал первый абзац ведомости, спотыкаясь на каждом «ять» и «ер». Почерк — кошмар. Кукушкин, вышедший «посмотреть, как идут дела», взглянул на мою работу и вежливо промолчал. Вежливое молчание — это когда человек не говорит «ужас», но всё его лицо говорит «ужас».

— После лихорадки руки слабые, — сказал я.

— Конечно, конечно, — откликнулся Кукушкин. — Лихорадка — страшная вещь. Страшная. — Пауза. — У вас, помнится, до болезни-то почерк был лучше.

Вот оно. Он помнит почерк Вершинина. Вершинин писал нормально — а я пишу как первоклассник. Это — прокол. Мелкий, но Кукушкин его зафиксировал. Он всё фиксирует. Он, подозреваю, фиксирует даже то, как я держу перо, как макаю в чернильницу, как сижу за столом. Кукушкин — живая камера наблюдения, и отключить его нельзя.

— Выправится, — сказал я. — Дайте неделю.

Кукушкин кивнул. Ушёл за перегородку. Скрип пера возобновился.

Я смотрел на свою кляксу — первую из многих — и думал: ладно. Перо освою. Почерк поставлю. Не впервой учиться с нуля — в конце концов, я когда-то выучил Python за три недели. Гусиное перо не может быть сложнее Python.

Может. Оно сложнее. Потому что Python не ставит кляксы на казённую бумагу, а казённая бумага — до весны.

К вечеру второго дня я составил первый мысленный отчёт. Не записал — бумаги мало, а мой почерк ещё не годится для связного текста. Просто — разложил в голове.

Острог Охотский. Аудит.

Персонал:

Комендант Брылкин — босс. Пока не видел. Завтра аудиенция. Ерофей описывает его экономно: «Человек строгий, но справедливый». Перевожу: начальник, который тебя не тронет, если не дашь повода. А повод — это что угодно: лишний вопрос, не тот взгляд, не та цифра в ведомости. Учту.

Кукушкин — коллега. Опасность: высокая. Полезность: высокая. Стратегия: дружить, но не расслабляться. Он знает всё — и молчит. Идеальный источник информации, если найти правильный подход. И идеальный враг, если подход неправильный.

Ерофей — союзник. Единственный человек, которому я доверяю — не потому что он заслужил доверие, а потому что выбора нет. Он наблюдателен. Он молчалив. Он — единственный, кто видел меня в худшем состоянии и не сбежал. Это что-то значит.

Матрёна — повар. Готовит из рыбы. Рыбу. С рыбой. Характер — атомный реактор. Не связываться.

Фельдшер Порфирий Лукич — врач. Пока не встречал лично. Со слов Ерофея — «человек учёный, хоть и выпивает». Со слов Матрёны — «пьяница, но руки золотые, когда трезвый, а трезвый он по вторникам». Сегодня среда. Значит — пьяный.

Инфраструктура:

Вода — колодец. Один. На весь острог. Зимой, подозреваю, замерзает, и начинается веселье с рубкой льда на реке.

Отопление — печки. Дрова — заготовлены, но, по словам Ерофея, «маловато будет». Зима длится с октября по апрель. Шесть месяцев. Я не уверен, что хватит дров. Я не уверен, что хватит меня.

Еда — рыба (юкола, свежая, копчёная, солёная, варёная — рыба во всех агрегатных состояниях), каша (редко), хлеб (ещё реже — мука привозная, из Якутска), мясо (когда повезёт подстрелить). Овощей — ноль. Фруктов — ноль. Витаминов — ноль. Цинга — вопрос времени.

Цинга. Вот что меня пугает по-настоящему. Не медведи, не мороз, не Кукушкин — а цинга. Болезнь, от которой выпадают зубы, кровоточат дёсны и человек медленно разваливается на части. Лечится витамином С. Который содержится в цитрусовых — которых здесь нет, — в квашеной капусте — которой мало, — и в хвойном отваре. Хвойный отвар. Хвоя — вот её полная тайга. Это я помню. Откуда — из какого-то ютуб-ролика про выживание? Из школьного ОБЖ? Из статьи, которую листал в телефоне в метро? Неважно. Хвоя. Витамин С. Запомнить. Внедрить. Выжить.

Связь с внешним миром:

Нет.

Нет, серьёзно — нет. Почта из Иркутска приходит два-три раза в год — с оказией, с обозом. До Иркутска — два месяца верхом, через тайгу, горы и реки. До Петербурга — год. ГОД. Письмо, отправленное сегодня, дойдёт до столицы к следующей осени. Если дойдёт. Если не сожрёт медведь курьера. Если курьер не замёрзнет на перевале. Если — сто «если».

Это значит: я один. Совсем. Абсолютно. Любое решение, которое я приму, — моё и только моё. Помощи ждать неоткуда. Начальство, которое могло бы вмешаться, — за тысячи вёрст. Закон — это то, что скажет комендант. Справедливость — это то, что позволит тайга.

С одной стороны — ужас. С другой — свобода. В Москве XXI века я не мог выбрать обои в съёмной квартире без согласия арендодателя. Здесь — я на краю мира, и никто не контролирует. Никто не проверяет. Никто не пишет в чатик: «Вершинин, где отчёт?»

Хотя нет. Кукушкин — пишет. Точнее — молча ждёт ведомость. Что, в общем-то, одно и то же.

Третий день принёс два открытия.

Открытие первое: **деньги.**

Я попросил Ерофея объяснить мне денежную систему. Нет, я не так сказал. Я сказал: «Ерофей, после лихорадки в голове туман — напости, почём здесь что». Ерофей, к его чести, принял это без вопросов — он уже, кажется, привык, что «приказный после болезни» не помнит вообще ничего. Или делает вид, что привык. С Ерофеем — как с Кукушкиным — сложно понять, где заканчивается принятие и начинается тактичность.

Итак. Денежная система Российской Империи XVIII века. Копейка, рубль, полтина, гривенник, алтын — набор слов, которые я слышал, но путал. Серебро и медь — разные вещи. Ассигнации — бумажные деньги — тоже существуют, но здесь, на краю земли, к ним относятся как я в XXI веке отношусь к криптовалюте: вроде деньги, но лучше — настоящие.

Мои три рубля серебром — это, по местным меркам, не так мало. Казак получает жалование — рублей двенадцать в год. В ГОД. Мой оклад коллежского регистратора — я нашёл цифру в бумагах — тридцать рублей в год. Тридцать рублей. За год работы на краю земли, в холоде, без нормальной еды, с риском умереть от цинги, медведя или бюрократии. В пересчёте на московские цены XXI века... а, какая разница. Здесь — другая арифметика. Здесь пуд муки стоит рубль, фунт чая — два рубля (если достанешь), а бутылка водки — двадцать копеек, и это объясняет, почему все пьют.

Открытие второе: **чернильница**.

К обеду я наконец понял, почему мой почерк — катастрофа. Дело не только в перьях и мышечной памяти. Дело в чернильнице. Точнее — в чернилах. Чернила здесь — не из магазина «Канцтовары». Чернила здесь делают сами: из дубовых орешков, железного купороса, гуммиарабика и воды. И делают по-разному. Кукушкинские чернила — густые, чёрные, ложатся ровно. Мои — жидкие, бледные, растекаются при малейшем нажиме. Почему? Потому что мою чернильницу — я проверил — не обновляли с тех пор, как Вершинин приехал и слёг. Чернила подсохли, разбавлены водой кое-как, консистенция — как у больного супа.

— Игнатий Саввич, — обратился я к Кукушкину, подобрав формулировку, — не скажете ли, как бы мне чернила обновить? А то после болезни — забыл рецептуру.

Кукушкин вышел из-за перегородки. Посмотрел на мою чернильницу. Потом — на меня. В его глазах мелькнуло что-то — не удивление, нет. Скорее — интерес. Живой, настоящий интерес, на секунду прорвавшийся сквозь маску серой незаметности.

— Рецептуру, — повторил он. — Забыли.

— Начисто, — подтвердил я. — Лихорадка.

— Лихорадка, — кивнул он. — Страшная вещь.

Пауза. Он смотрел на меня. Я смотрел на него. Между нами — чернильница с бледными чернилами и вопрос, который Кукушкин не задаст вслух, но который висел в воздухе, как дым от лучины: «Кто вы такой, Алексей Иванович? Потому что тот Вершинин, которого я видел до болезни, — он чернила делать умел».

— Покажу, — сказал Кукушкин. И показал.

И вот тут — я увидел мастера. Кукушкин делал чернила так, как программист пишет код: точно, экономно, с пониманием каждого шага. Дубовые орешки — растолочь. Купорос — отмерить (щепоть, не больше). Гуммиарабик — растворить в тёплой воде. Смешать. Процедить через тряпку. Дать настояться.

Он объяснял — негромко, монотонно, как лекцию читал. И я слушал — и параллельно думал: этот человек не простой писарь. Он слишком умён. Слишком точен. Слишком... образован. Он сказал «гуммиарабик» — не «клей», не «смола», а именно «гуммиарабик». Откуда писарь на краю земли знает слово «гуммиарабик»? И — я вспомнил, что говорил Ерофей, когда описывал канцелярию, — Кукушкин что-то бормотал на латыни, когда думал, что его не слышат.

Латынь. Гуммиарабик. Двадцать лет на одной должности. Не пьёт.

Кукушкин — загадка. И загадки я люблю. Но — потом. Сейчас — чернила. Сейчас — выживание.

— Благодарю, Игнатий Саввич, — сказал я. — Вы мне очень помогли.

— Пустое, — махнул он рукой. — Мы тут все друг другу помогаем. Иначе — никак. Край-с.

Край. Ключевое слово. На краю земли — либо помогаешь, либо пропадаешь. Командная работа — не корпоративная ценность из презентации, а вопрос выживания.

Четвёртый день — 27 сентября — я совершил две ошибки.

Ошибка первая: я попытался пожать руку.

Не специально. Рефлекс. Ерофей привёл меня к амбару — познакомить с каптенармусом Степанычем, который заведовал припасами. Степаныч — кряжистый мужик с бородой до пояса и глазами цвета прокисшего молока — протянул мне ключ от канцелярского шкафа (какие-то бумаги по описи). И я — автоматически, не думая, как делал тысячу раз в прошлой жизни — протянул руку для рукопожатия.

Степаныч посмотрел на мою руку. Потом — на меня. Потом — на Ерофея. В его взгляде читалось: «А этот что — ручку жать пришёл? Что за столичные манеры?»

Ерофей кашлянул. Я убрал руку. Взял ключ. Поклонился. Степаныч буркнул: «С Богом» — и ушёл.

Рукопожатие. Самый естественный жест XXI века — и самый подозрительный в XVIII-м. Здесь не жмут руки при знакомстве. Здесь кланяются. Снимают шапку. Крестятся. Но не жмут руки — это купеческий обычай, да и то при заключении сделки, а не при встрече с каптенармусом.

Идиот. Идиот, идиот.

Ерофей ничего не сказал. Но я заметил: он посмотрел на мою руку — протянутую для пожатия — и его глаза чуть сузились. Зафиксировал. Добавил в мысленную папку «Странности приказного». Папка, подозреваю, уже толстая.

Ошибка вторая: я сказал «нормально».

Кукушкин спросил, как я себя чувствую. Я ответил: «Нормально». Слово вылетело — и повисло в воздухе, как воробей, который залетел не в ту форточку.

— Нормально? — переспросил Кукушкин, приподняв одну бровь. Не две — одну. Левую.

Я похолодел. «Нормально» — слово, которое в XVIII веке... существует? Не существует? Я не знал. Нормальный — от «норма», латынь, должно быть в обороте. Но — в разговорной речи мелкого чиновника? В Охотске? Звучит ли оно здесь так же, как звучит для меня?

— Сносно, — быстро поправился я. — Хотел сказать — сносно. Лихорадка слова путает.

— А, — сказал Кукушкин. — Понятно. Сносно — это хорошо. Сносно — это нам подходит.

Он улыбнулся. Улыбка — ровная, дежурная, ничего не значащая. Или значащая всё. С Кукушкиным — никогда не знаешь.

Я вернулся в свою избу, сел на лавку и мысленно составил список запрещённых слов.

Нельзя: окей, нормально, чёткий, реально, круто, в смысле, типа, кринж, вайб, чат, проект, дедлайн, контент, стартап, менеджер, дебаг, логин, пароль...

Список получался бесконечным. Каждое третье слово в моём лексиконе — из будущего. Каждая вторая привычка — из другого мира. Каждый первый рефлекс — опасен.

Можно: ладно. Так точно. Слушаюсь. Покорнейше благодарю. Как прикажете. Бог даст. Авось. Ничего. Помилуй Бог.

«Ладно» — моё слово-спасатель. Универсальное, безвременное, подходит к любому веку. «Ладно» — это мой Ctrl+S. Сохраняемся и продолжаем.

Вечером четвёртого дня я лежал на лавке, смотрел в потолок и подводил промежуточный итог.

Четыре дня. Жив. Не раскрыт. Научился: разводить огонь (плохо), писать пером (ещё хуже), делать чернила (терпимо), мотать портянки (с третьей попытки), есть юколу (без рвотного рефлекса). Не научился: не палиться. Два прокола за один день — рукопожатие и «нормально». Мелкие, но Кукушкин и Ерофей — не мелкие люди. Они копят.

Завтра — комендант. Первая настоящая встреча с начальством. Человек, от которого зависит моё существование в этом остроге — и, следовательно, моя жизнь. Потому что без острога, без должности, без казённого жалованья и казённой юколы — я никто. Бродяга без документов. В XVIII веке бродяга без документов — это не романтика, это статья. Кандалы. Каторга. Или хуже.

Значит — Брылкин. Завтра. Аудиенция. Собеседование на должность, которая у меня уже есть, — но которую нужно удержать.

Я прикрыл глаза.

За стеной — Охотское море. Ветер. Шорох дождя по крыше. Где-то лает собака — та самая, рыжая, с виноватым лицом. Вчера я видел, как она стащила юколу у амбара и бежала с ней через весь острог, а казак Силантий бежал за ней и ругался так, что я выучил пять новых слов XVIII века. Все пять — непечатные.

Ладно. Спать. Завтра — комендант.

Завтра будет завтра.

* * *

Писарь Игнатий Саввич Кукушкин сидел при свече и дописывал ведомость ясачного сбора за август. Почерк его — ровный, красивый, одинаковый от первой строки до последней — не дрогнул ни разу за три часа работы. Кукушкин не торопился. Кукушкин никогда не торопился. Тайга наказывает тех, кто спешит, — это ему однажды сказал тунгусский старейшина, и Кукушкин с тех пор жил по этому правилу, хотя и не признался бы.

Новый приказный не шёл у него из головы.

Не почерк — почерк можно потерять от лихорадки, бывает. Не слово «нормально» — чудные слова от болезни случаются, сам Кукушкин после горячки однажды заговорил полатыни и не мог остановиться три дня. Не рукопожатие — столичные иногда привозят странные привычки.

А — глаза.

У Вершинина до болезни были глаза испуганного кролика: тусклые, загнанные, на всех смотрели снизу вверх. Обычный чиновник четырнадцатого класса, каких Кукушкин за двадцать лет перевидал — бог мой — штук пятнадцать. Приезжают, пьют, кашляют, сторают или уезжают. Ничего особенного.

А теперь — после лихорадки — глаза другие. Светлые, быстрые. Смотрят не снизу вверх, а — прямо. Нет, не прямо. Они смотрят — сквозь. Как будто человек за этими глазами видит что-то, чего остальные не видят. Что-то впереди. Или — позади. Или — в другом месте вовсе.

Кукушкин обмакнул перо. Провёл ровную линию — ни дрожи, ни запинки.

«С придурию, — подумал он. — Или умный».

Свеча потрескивала. За стеной — море и ветер. Зима шла.

Кукушкин дописал ведомость, присыпал песком, аккуратно сложил. Задул свечу.

В темноте — только море. И мысль, маленькая, как искра от кресала, — но упрямая: Этот Вершинин — не тот Вершинин.

Кукушкин лёг на свою лавку, натянул одеяло и закрыл глаза. Мысль он спрятал туда, куда прятал все опасные мысли, — в самый дальний угол, за ведомости, за цифры, за двадцать лет молчания.

Разберёмся. Не сегодня. Не завтра. Но — разберёмся.

Кукушкин умел ждать.

Глава 3. Его превосходительство и прочие стихийные бедствия.

К аудиенции у коменданта я готовился как к собеседованию. Нет — серьёзнее. На собеседованиях в XXI веке худшее, что грозит, — тебя не возьмут, и ты пойдёшь домой есть пиццу и жалеть себя. Здесь — худшее, что грозит, — тебя разоблачат, и ты пойдёшь в кандалах есть юколу и жалеть себя. *Разница — в кандалах.*

Утро 28 сентября я потратил на подготовку. Бумаги Вершинина — перечитал дважды. Немного. Предписание из Иркутска, подорожная, аттестат об окончании... чего? Я вчитался: «...курса наук при Иркутской семинарии». Семинария. Вершинин учился в семинарии — не в университете, не в корпусе, а в семинарии. Это значит — духовное образование, потом — перешёл на гражданскую службу. Мелкий дворянин, без денег, без связей, без перспектив. Тупик, из которого единственный выход — на край земли, где есть вакансии, потому что прежний приказный умер.

Вакансия через смерть. Романтика.

Что я знаю о Вершинине: родился «под Тулой» (из бумаг), учился в Иркутске (оттуда), направлен в Охотск (сюда). Родители — не упомянуты. Жена — нет. Дети — нет. Имущество — сундук. Три рубля. Шинель. Кашель. Кашель — наследство, которое мне досталось вместе с тушкой.

Что я НЕ знаю: всё остальное. Характер Вершинина. Привычки. Любимое блюдо. (Юкола? Надеюсь, нет.) Отношения с людьми. Друзья. Враги. Какие книги читал, какие песни пел, какие молитвы знал. Пустота — огромная, зияющая, и каждый вопрос коменданта может попасть прямо в эту пустоту.

Стратегия: молчать, когда можно. Отвечать коротко, когда нельзя. Ссылаться на лихорадку при любом затруднении. И — главное — слушать. Слушать внимательнее, чем говорить. Потому что комендант будет не только спрашивать. Он будет рассказывать — о себе, о своих правилах, о том, как тут «заведено». И в этом рассказе — ключи к выживанию.

Ерофей пришёл за мной в полдень. Оглядел — я был в шинели (единственная приличная одежда), рубахе (пятно замыл, не помогло) и штанах (заштопанное колено — ладно, бывало хуже).

— Пойдёмте, ваше благородие, — сказал он. И добавил, чуть понизив голос: — Комендант с утра в духе. Настойку ещё не открывал.

Перевожу: «Спешите, пока трезвый».

Комендантский дом стоял в центре острога — самая большая изба, единственная в два этажа, с настоящими слюдяными окнами и крыльцом, на котором сидел кот. Кот был огромный, серый, с надорванным ухом и выражением лица «я здесь главный, и все это знают». Кот посмотрел на меня, зевнул — вот с такой пастью, по ширине — с мою ладонь — и отвернулся. Аудиенция с котом завершена. Я не прошёл.

Внутри — сени, запах кислой капусты и дерева, лестница наверх. Ерофей остался внизу. Я поднялся — ступени скрипели так, что все в радиусе ста метров знали: к коменданту кто-то идёт.

Комната. Большая — по местным меркам. Стол — настоящий, не лавка, с резными ножками, привезённый откуда-то из цивилизации. На столе — бумаги, чернильница, подсвечник, бутылка тёмного стекла (настойка — вот она, легенда) и карта. Карта. Я едва не присвистел: карта побережья, рукописная, с пометками, с названиями — Охотск, Камчатка, Алеутские острова, обрывки береговой линии, белые пятна. Половина побережья — *terra incognita*. В XXI

веке я видел эту карту в Google Maps, с точностью до метра. Здесь — мазки кистью и надежда, что штурман не ошибся.

За столом — человек.

Брылкин. Иван Тихонович. Комендант Охотского острога.

Первое впечатление: большой. Не высокий — широкий. *Как шкаф*. Как шкаф, который поставили в угол, а он обиделся и стал командовать. Лицо — красное, одутловатое, с бородой рыжеватой, с проседью. Глаза... да. Глаза как у варёной рыбы. Водянистые, навывкате, блёклые. Но — и вот это я заметил не сразу — глаза умные. За всей этой варёной рыбой пряталось внимание. Цепкое, опытное, жёсткое. Двадцать лет на краю земли, с казаками, каторжниками и медведями — это вам не корпоративные тренинги. Это — школа выживания, и Брылкин её окончил с отличием.

— А, — сказал он. Голос — бас, густой, вибрирующий. Стёкла в окнах дрогнули. Я не преувеличиваю — реально дрогнули. — Вершинин. Встал, стало быть. Живой. Ну, проходи. Садись.

Он показал на лавку у стола. Я сел. Он — напротив, в кресле (единственное кресло в остроге, подозреваю — единственное в радиусе тысячи вёрст). Кресло скрипнуло. Брылкин смотрел на меня.

Молча.

Долго.

Знаете, есть люди, которые молчат потому, что им нечего сказать. А есть — которые молчат, потому что ждут, пока ты сам себя выдашь. Брылкин был из вторых. Его молчание было как сеть — расставлена, и теперь он ждал, какая рыба попадётся.

Я не попался. Сидел, молчал, смотрел на стол. Ждал. Терпение — одно из немногих качеств, которое у меня осталось от XXI века и которое здесь работает. Бывший начальник, Серёга, научил: «На совещании первый заговоривший — проиграл». Спасибо, Серёга. Ты бы тут оценил.

Брылкин хмыкнул. Неожиданно — улыбнулся. Не широко, не тепло — скорее, как собака, которая показывает зубы.

— Молчишь, — сказал он. — Это хорошо. Болтливых я не люблю. Болтливые тут долго не живут. Погода, знаешь ли, располагает к молчанию.

Он потянулся к бутылке. Открыл. Налил — себе, в стаканчик (оловянный), и мне — в другой. Запах — хвоя, спирт, что-то горькое. Настойка на кедровых орехах — та самая, легендарная.

— Пей, — сказал Брылкин. Не предложил — велел.

Я выпил. Горло обожгло. Глаза — заслезились. Лёгкие — взвыли. Крепость — градусов пятьдесят, не меньше. В XXI веке это называлось бы «огненная вода» и продавалось бы хипстерам за бешеные деньги с припиской «ремесленное производство». Здесь это — казённая настойка, и она убивает медленно, но верно.

— Крепка? — спросил Брылкин. Он даже не поморщился —пил свою порцию как воду.

— Крепка, — подтвердил я хрипло.

— Привыкнешь. Здесь ко всему привыкаешь. Или не привыкаешь — тогда помираешь. Философия Охотска в двух предложениях. Можно вышивать на подушке.

— Ну, — он поставил стаканчик, — рассказывай.

— Что именно, ваше благородие?

— Всё. Кто таков, откуда, чему обучен, зачем сюда поехал — кто в здравом уме едет в Охотск.

Вот оно. Допрос. Собеседование. Экзамен. Три в одном — и все без подготовки.

Я вдохнул. И начал играть роль.

— Вершинин, Алексей Иванович. Из дворян, ваше благородие. Отец — из-под Тулы, небогат. Обучался в Иркутской семинарии, затем — в Иркутской губернской канцелярии. Определён в Охотскую канцелярию по распоряжению...

— Это я из бумаг твоих прочитал, — перебил Брылкин. Спокойно, без раздражения, — как человек, который отмахивает муху. — Бумаги — бумаги. Я не бумаги спрашиваю. Я тебя спрашиваю.

Пауза.

— *Зачем ты сюда приехал?*

Хороший вопрос. Главный вопрос. Зачем молодой чиновник едет на край земли? Варианты: карьера (маловероятно — карьеру делают в Петербурге), наказание (вероятно — Охотск часто был ссылкой), безвыходность (ещё вероятнее — нищий дворянин без связей берёт что дают).

— Потому что предложили, ваше благородие, — сказал я. — А другого не предлагали.

Я не знал, почему настоящий Вершинин поехал в Охотск. Но эта фраза звучала правдоподобно — потому что она звучала так, как ответил бы любой мелкий чиновник на краю империи. «Потому что другого не было». Честно, горько и безопасно.

Брылкин посмотрел на меня. Снова — долго. Снова — молча. Потом кивнул.

— Честно. Или умно. — Он налил ещё. — Одно от другого тут не отличишь.

Он выпил. Я — тоже. На этот раз — не так ударило. Организм адаптируется или умирает? Пока не понимаю.

— Родители?

— Отец — умер. Мать — в Туле.

— Жена?

— Нет, ваше благородие.

— Правильно. Жену сюда не вези. Я свою привёз — двадцать лет жалею. Она — тоже.

Он сказал это без злости — устало. Как факт. Жена Брылкина — я вспомнил оговорку Ерофея о «супружнице с зеркалом» — была здесь, в этом доме, за стеной. Двадцать лет. На краю земли. Интересно, что думает она о муже, об Охотске, о жизни. Впрочем — не моё дело. Пока.

— Учился чему?

— Грамота, арифметика, Закон Божий, латынь...

— Латынь? — Брылкин приподнял бровь.

— В семинарии учили, — поспешно добавил я. — Немного. Почти забыл.

Латынь. Вершинин знал латынь? Или не знал? В семинарии её учили — это факт. Но насколько хорошо? Я не знаю латынь. То есть — знаю слов десять. «Carpe diem», «veni, vidi, vici», «in vino veritas» и пару медицинских терминов. Если Брылкин решит проверить... а он не решит. Он — не учитель латыни. Он — комендант острога. Его латынь интересует не больше, чем меня — устройство мушкета.

Брылкин, кажется, согласился — кивнул, и латынь отправилась в архив.

— А скажи мне, Вершинин, — он наклонился вперёд, и кресло отчаянно заскрипело, — вот ты приехал. Слёг. Три дня в горячке. Очнулся. И что ты тут увидел?

Ловушка? Я не знал — и решил ответить честно. Точнее — той честностью, которую мог себе позволить.

— Вижу острог, ваше благородие. Крепкий. Людей — мало, но живут. Канцелярия — работает. Писарь — человек дельный. Море — вон оно. Тайга — тоже. Зима — скоро.

Брылкин слушал. Рыбы глаза — неподвижные, водянистые — но за ними что-то двигалось. Считывал. Оценивал. Примерял — как мясник примеряет тушу: годится? Отбивная или на фарш?

— А что плохого увидел?

Та-а-ак. Вот это — настоящий вопрос. Скажешь «ничего» — врёшь, и он это знает. Скажешь слишком много — нарвёшься.

— Дров маловато, — сказал я. — На зиму, кажется, впритык. И мука — тоже.

Конкретика. Не политика, не личности — хозяйство. Безопасная территория. И — правда: я это видел по амбарам. Дров было, на мой неопытный взгляд, мало. Муки — ещё меньше. Но я мог ошибаться — я же «после болезни».

Брылкин усмехнулся. Первая настоящая эмоция за всю встречу — и она была... одобрительная?

— Хозяйственный, — сказал он. — Это хорошо. Хозяйственных я люблю. Нехозяйственные тут долго не живут.

Второй раз «долго не живут». У Брылкина — мотив. Или манера речи. Или — предупреждение.

Он встал. Тяжело, с хрустом в коленях. Подошёл к окну — настоящему, слюдяному, через которое было видно море. Серое, тяжёлое, бесконечное.

— Я тут двадцать лет, Вершинин, — сказал он, не оборачиваясь. — Двадцать. Молодым приехал — дураком. Думал: послужу, вернусь, карьера. — Он хмыкнул. — Карьера. Ну вот — дослужился. До коменданта острога на краю земли. Бог с ней, с карьерой.

Он замолчал. Смотрел на море. И я вдруг увидел: на секунду — ровно на секунду — Брылкин стал другим. Не комендантом, не начальством, не хитрым лисом за бутылкой настойки, — а усталым человеком, который двадцать лет смотрит на одно и то же море и не может уехать. Или не хочет. Или — забыл, что можно.

Секунда прошла. Он обернулся — снова комендант, снова рыбы глаза, снова власть.

— Значит, так, — голос стал деловым. — Ты — приказный при канцелярии. Бумаги — твоя забота. Ведомости, реестры, описи — чтоб были в порядке. Кукушкин покажет, что к чему. Жалованье — от казны, тридцать рублей в год, выплата — когда привезут. Когда привезут — не спрашивай, сам не знаю. Квартира — та изба, где лежал. Дрова — казённые, по норме. Провиант — тоже. Вопросы?

— Один, ваше благородие.

— Ну?

— Острог хотел бы осмотреть. Полностью. Чтобы знать, что в ведомости записывать.

Брылкин посмотрел на меня. Прищурился. Это было — новое: что-то мелькнуло в рыбьих глазах, что-то похожее на... уважение? Нет, рано. Интерес. Как у рыбака, который увидел нового рыбу в пруду и думает: «А ну-ка, посмотрим, что за зверь».

— Толково, — сказал он. — Ерофея возьми — он покажет. Всё покажешь, — это он крикнул вниз, в лестницу, и Ерофей — который, разумеется, стоял внизу и всё слышал — откликнулся:

— Слушаюсь, ваше благородие.

Я встал. Поклонился. Вспомнил — не жать руку, не жать руку, НЕ ЖАТЬ РУКУ — и вышел. На лестнице — выдохнул.

Первый босс — пройден. Не убит, не побеждён — просто пройден. Он меня оценил и решил: годен. Пока. Временно. Условно. Как стажёр на испытательном сроке, которого терпят, пока не накосячит.

Не накосячить. Вот моя должностная инструкция.

Экскурсию по острогу Ерофей провёл в стиле, который я бы назвал «аудиогид-минималист»: факт, пауза, следующий факт. Без эмоций, без прилагательных, без рекламы. Идеальный формат.

Казарма. Длинная бревенчатая изба, внутри — нары в два яруса, по двадцать мест с каждой стороны. Пахло... нет, описывать не буду. Скажем так: запах был самостоятельной формой жизни, давно поселившейся здесь и не планировавшей съезжать. На нарах — тулупы, тряпки,

нехитрые пожитки. У входа — оружие: пищали, мушкеты, пара сабель. На стене — икона, почерневшая от копоти.

— Здесь — гарнизон, — сказал Ерофей. — Сорок два человека. По списку — шестьдесят. Где остальные — на промыслах, в разъездах, кто помер.

Восемнадцать человек — минус. Мёртвых или отсутствующих — почти треть. Это был первый момент, когда я по-настоящему почувствовал: это не музей. Здесь люди умирают — от цинги, от обморожений, от несчастных случаев, от болезней, которые в моём времени лечатся таблеткой за двести рублей. Здесь — не лечатся. Здесь — умирают.

Амбар. Большой, бревенчатый, с замком, который весил, кажется, больше, чем всё его содержимое. Внутри — бочки (рыба солёная, рыба копчёная), мешки (мука — жалкие три мешка, крупа — два), связки ююлы на жердях, бочонок пороха, тюки с чем-то (сукно?). Всё — под описью, которую вёл тот самый каптенармус Степаныч, с которым я не пожал руку.

Я смотрел на амбар и считал. Привычка — считать. Полтора человека. Шесть месяцев зимы. Три мешка муки. Рыбы — много, но рыба одна не прокормит, от чистой рыбы — цинга. Круп — на месяц, может, на два. А потом?

— А потом — охота, — сказал Ерофей, угадав мой взгляд. — И торг с тунгусами. Они оленину приносят. Когда приносят.

«Когда приносят». Ключевое слово — «когда». Не «всегда». Не «регулярно». «Когда» — если захотят, если будет лишнее, если не обидятся. Снабжение, зависящее от настроения торговых партнёров. В ХХI веке это называлось бы «кошмарный риск менеджмент», но здесь — это жизнь.

Пороховой погреб. Отдельная изба, вкопанная в землю наполовину. Замок — ещё тяжелее, чем на амбаре. Внутри я не был — Ерофей сказал «незачем», и я поверил. Порох — это то, что стреляет, и то, что взрывается. Обе функции меня пугали одинаково.

— Пушка одна? — спросил я, вспомнив ржавое чудовище у ворот.

— Одна, ваше благородие. Стреляли из неё последний раз... — Ерофей задумался. — Года три назад. Корабль встречали.

— Попали?

— В корабль? Нет. В забор — да.

Славная артиллерия. Спасибо, что не в меня.

И наконец — лазарет.

Лазарет располагался в избе, которая была чуть меньше моей, но пахла значительно хуже. Это — достижение, учитывая, что моя изба пахла тулупом, дымом и безысходностью. Лазарет пах всем этим плюс чем-то медицинским — спирт? травы? — и чем-то, о чём я предпочёл не думать.

Внутри — три лавки (койки), на одной — человек с забинтованной рукой (спал или был без сознания — не понял), на другой — тряпки и бинты (бурые, многоразовые, вид — утраченный), третья — пустая. Шкафчик на стене — открытый, внутри — склянки, пучки трав, что-то в бумажных свёртках. Набор инструментов на полке — я узнал щипцы (зубные? хирургические?), нож (точно хирургический), пилу (маленькую, но от одного её вида у меня заныли все кости) и что-то ещё, чему я не знал названия и знать не хотел.

За столом — человек.

Порфирий Лукич Дроздов. Фельдшер Охотского острога. Единственный медик в радиусе — сколько? — тысячи вёрст? Двух тысяч? Не хочу знать.

Первое впечатление: запах. От Дроздова пахло спиртом. Не «выпил вчера» — а «пропитался насквозь, как бочка после двадцати лет эксплуатации». Он был... как бы сказать... немолод, нетрезв и несчастен. Лицо — одутловатое, серое, с красными прожилками на щеках и носу (классика жанра). Глаза — мутные. Руки — я посмотрел на руки — длинные пальцы, тонкие,

неожиданно аккуратные для остального облика. Руки хирурга на теле пропойцы. Контраст — болезненный.

— А, — сказал он, увидев меня. Голос — хриплый, но с интонациями, которые выдавали образование. Петербург? Москва? Где-то «оттуда», из большого мира. — Приказный новый. Встал, значит. Ну, молодец. Заходи. Нет, стой. Дай-ка послушаю.

Он поднялся — покачнулся, но устоял — подошёл ко мне и без предупреждения приложил ухо к моей груди.

Я замер. Чужой человек прижался ухом к моему телу — и слушал. В XXI веке для этого есть стетоскоп, кабинет, запись к врачу за три недели и неловкое «раздевайтесь до пояса». Здесь — ухо. К груди. И тишина.

— Дыши, — велел Дроздов.

Я вдохнул. Лёгкие засвистели. Дроздов поморщился.

— Выдыхай.

Выдохнул. Свист — тоньше.

— Ещё.

Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.

Дроздов отстранился. Посмотрел на меня — и в мутных глазах мелькнуло что-то профессиональное. Острое. Трезвое. На секунду — настоящий врач, не пьяница в избе.

— Лёгкие слабые, — сказал он. — Хрипы справа, внизу. Не чахотка — иначе бы уже кровью кашлял. Простудное. Лихорадка — выгорела, но след оставила. — Он ткнул пальцем мне в грудь. — Тебе, голубчик, сейчас главное — не простыть заново. Простынешь — второй раз может не выкарабкаешься. Тепло. Питьё тёплое. И не лезь на мороз без нужды.

— Понял, — сказал я. — Порфирий Лукич, а от кашля — есть что-нибудь?

Он посмотрел на меня, как я смотрел на свой разбитый палец, когда не было пластыря. С состраданием и бессилием.

— Мёд, — сказал он. — Мёда нет. Малина — закончилась в августе. Водка — есть, но от кашля не поможет, хотя комендант считает иначе. — Он помолчал. — Ты, Вершинин, кашляй потише и пей горячее. Вот и весь мой рецепт. Извини.

«Извини». Фельдшер извинился передо мной — за то, что не может вылечить кашель. В XXI веке я бы зашёл в аптеку и купил сироп за триста рублей. Здесь — «кашляй потише». Вот и вся медицина. Вот и весь XVIII век.

— А хвойный отвар? — спросил я. Осторожно. Будто вспоминая. — Кажется... слышал где-то... от кашля помогает?

Дроздов приподнял бровь. Посмотрел на меня с интересом — первым за весь разговор настоящим интересом.

— Хвойный отвар, — повторил он. — Слышал. Где слышал?

— Не помню, — быстро соврал я. — В Иркутске, кажется. Кто-то из... учёных немцев.

Учёный немец. Мой универсальный источник. Если что-то странное — «учёный немец рассказал». Немцев в России XVIII века было много, они были везде, и они были достаточно странными, чтобы им можно было приписать любое знание.

Дроздов кивнул. Медленно, задумчиво.

— Хвойный отвар, — сказал он снова. — Знаешь, голубчик, а ведь это не глупость. Я читал... давно... у одного автора... — Он осёкся. Мутные глаза на миг прояснились — и снова затуманились. — Было дело. Мореходы варят отвар из хвои от цинги. Поморы. Говорят — помогает. Научного обоснования — никакого, но... — Он пожал плечами. — Здесь не до науки. Здесь — что работает, то и лекарство.

— Можно попробовать? — спросил я.

— Лиственница, — сказал Дроздов. — Свежая хвоя. Залить кипятком, настоять. Пить тёплым. Горько будет — страшное дело. Но — не отравишься.

— Спасибо, Порфирий Лукич.

Он махнул рукой. Сел обратно за стол. Потянулся к склянке — и я увидел: склянка была не с лекарством. Со спиртом. Рука — та самая, с длинными тонкими пальцами хирурга — не дрожала. Ни капли.

Руки не дрожат. При том, что остальное — дрожит, плывёт, тонет.

Я вышел из лазарета и вдохнул холодный воздух. Мир за дверью был тот же — тайга, море, частокол, грязь, — но я чувствовал себя иначе. Хвойный отвар. Маленькая победа. Микроскопическая. Но — моя. Первое знание из будущего, которое я смог применить — не нарвавшись, не спалившись, не вызвав подозрений.

Витамин С. Ютуб-ролик про выживание. Три миллиона просмотров. Спасибо, блогер из Новосибирска, чьё имя я забыл. Ты только что, возможно, спас мне жизнь.

Ерофей стоял у лазарета и ждал.

— Ваше благородие, — сказал он, — вы б не ходили без шапки. Ветер.

Шапка. У меня нет шапки. В сундуке — не было. Вершинин приехал без шапки? Или потерял? Или — украли, пока он лежал в горячке?

— Нету шапки, Ерофей.

Он посмотрел на меня. На мою голову — без шапки, на ветру, с чужими светлыми волосами, которые трепало как флаг бедствия. Потом — снял свою, меховую, — и протянул.

— Наденьте. Свою — достану.

— Ерофей, я не могу...

— Наденьте, — повторил он. Тон не терпел возражений.

Я надел. Шапка пахла Ерофеем — дымом, кожей, чем-то хвойным. И была тёплой. Впервые за шесть дней мои уши были в тепле, и это было — счастье. Маленькое, абсолютное, неподдельное счастье.

— Спасибо, — сказал я. В третий раз за неделю.

Ерофей ничего не ответил. Но уголок рта — левый — чуть дёрнулся. Не улыбка. Тень улыбки. Контур.

Мы шли обратно через острог — мимо казармы, мимо амбара, мимо собаки (рыжая, виноватая, грызла что-то у забора), — и я думал: вот. Вот мой мир. Полторы сотни человек, частокол, море, тайга. Комендант, который пьёт настойку и видит насквозь. Писарь, который знает всё и молчит. Фельдшер, у которого руки не дрожат. Казак, который отдал мне шапку.

И я — чужак, который не умеет разводить огонь, писать пером и мотать портянки, но зато знает, что хвойный отвар помогает от цинги.

Армия, конечно, так себе. Но — моя.

Вечером — 28 сентября, первый день после аудиенции — я лежал в избе, пил горячую воду (кипятить научился — хотя бы это) и составлял в голове досье на Брылкина.

Брылкин И.Т. Комендант. Оценка угрозы.

Умён. Не книжно — практически. Двадцать лет на Дальнем Востоке — это PhD по выживанию. Физиономист — считывает людей, как я считываю код. Пьёт — но не теряет контроля: настойка для него — инструмент, не слабость. Наливает — чтобы развязать язык собеседнику. Сам — контролирует дозу.

Опасен? Да. Для меня — пока нет. Я — мелкий, полезный, безвредный. Пока я в этих рамках — Брылкин будет меня терпеть. Может быть — даже использовать. Ему нужен грамотный приказный, а Кукушкин — при всей его гениальности — один не справляется.

Слабое место: он устал. По-настоящему, до костей устал. Двадцать лет — и никакого выхода. Ни повышения, ни перевода, ни отставки. Он застрял — как я, только он застрял в своём собственном веке, и это, возможно, хуже.

Вывод: не врать ему в лицо. Не лезть в его дела. Быть полезным. И — ни в коем случае — не дать ему повода думать, что я — угроза.

Потому что Брылкин — не злой. Но он — как медведь: спокоен, пока ты не подошёл слишком близко. А подойдёшь — и всё, что ты увидишь, — это лапа. Одна. Последняя.

Ладно. Стратегия ясна. Быть маленьким, быть полезным, быть тихим.

Тихим.

Кстати — о тихом. Завтра надо найти лиственницу. И сварить отвар.

* * *

Комендант Иван Тихонович Брылкин сидел у себя наверху, пил настойку — третью за вечер, но кто считает — и думал о новом приказном.

Странный малый.

Нет — не «странный». Странных Брылкин повидал. Ссылные — странные. Каторжники — странные. Учёные из Петербурга, которых занесёт сюда раз в пять лет с экспедицией, — те вообще юродивые. А Вершинин — не странный. Он — другой.

Брылкин двадцать лет принимал людей. Двадцать лет смотрел, как новенькие входят к нему в комнату — испуганные, заискивающие, наглые, равнодушные. У каждого — выражение, по которому всё ясно в первые десять секунд. У одних — «дайте выпить и оставьте в покое». У других — «я тут ненадолго, где карьерная лестница?» У третьих — «я пропал, помогите». Просто, понятно, предсказуемо.

У Вершинина — ни одно из трёх. Вершинин вошёл — и молчал. Не от робости. Не от тупости. Молчал — и смотрел. Смотрел так, будто не комнату видел — а чертёж. Будто прикидывал, где стены несущие, а где — декорация. Будто — оценивал.

Мелкий приказный четырнадцатого класса. Оценивал коменданта.

Брылкин глотнул настойку.

И ещё — глаза. У Вершинина до болезни были глаза забитой собаки. Приехал — серый, тихий, кашляющий, на всех смотрел снизу. Обычный чиновник, которого система пережевала и сплюнула на край земли. Таких — пруд пруди.

А сейчас — глаза другие. Не испуганные. Не заискивающие. Внимательные. Быстрые. Глаза человека, который считает. Постоянно. Всё.

«Дров маловато». Это он заметил — за четыре дня, после лихорадки, едва на ногах стоя. Дров маловато. Муки — тоже. Приказный четырнадцатого класса — а считает провиант, как интендант.

Брылкин поставил стаканчик. Посмотрел в окно — темнота, море, ветер.

Либо — очень умный. Либо — очень опасный. Либо — и то, и другое.

Кот запрыгнул на стол, лёг на бумаги и замурчал. Брылкин почесал его за ухом — за надорванным, — и задул свечу.

Глава 4. Вода, огонь и прочие высокие технологии.

На десятый день в XVIII веке я объявил войну.

Не Брылкину. Не тайге. Не судьбе. Я объявил войну грязи, холодной воде, сквознякам и антисанитарии. Маленькая, негероическая, абсолютно бытовая война — из тех, о которых не пишут в учебниках, но от которых зависит, доживёшь ты до весны или нет.

Начал я с кипячения воды.

Казалось бы — что тут сложного? Вода. Огонь. Котёл. Соединяем. Кипятим. Пьём. Не боеем. Элементарно. Курс ОБЖ, пятый класс, единственное, что я из него запомнил, — и вот шанс применить. Наконец-то пять, Марья Степановна.

На практике — ад.

Проблема первая: котёл. Котёл в остроге один. Большой, чугунный, стоит в поварне — отдельной пристройке к казарме, которая по совместительству является кухней Матрёны, прачечной и местом, где казаки сушат портянки. Аромат — соответствующий. Котёл — собственность Матрёны, и Матрёна охраняет его, как дракон — сокровище. Подойти к котлу без её ведома — всё равно что зайти в серверную без пропуска. Теоретически можно. Практически — тебя найдут, опознают и накажут.

— Матрёна, — начал я осторожно, — а можно ли воду вскипятить?

Матрёна посмотрела на меня. Она стояла у печи — в переднике, заляпанном чешуёй, с поварёшкой в руке, которая больше напоминала оружие, — и смотрела так, как матёрая медведица смотрит на зайца, который пришёл обсудить меню.

— Вскипятить, — повторила она. — Воду. Зачем?

— Для питья.

— Для питья, — она повернула поварёшку в руке. Медленно. — А из колодца — чем плоха?

— Не плоха. Но кипячёная — лучше. Для здоровья.

Матрёна перевела взгляд на Ерофея. Ерофей стоял в дверях с выражением человека, который видел медведя, видел шторм, видел цингу, — но вот это видит впервые.

— Ерофей Кондратьич, — сказала Матрёна, — приказный ваш — точно не белены объелся?

— Не могу знать, — ответил Ерофей дипломатично.

Так началась первая битва. Битва за кипяток.

Проблема вторая: дрова. Кипятить воду — это жечь дрова. Дрова — дефицит. Их заготавливают летом и осенью, впрок, на всю зиму, и каждое полено на счету. Казённая норма — столько-то на казарму, столько-то на канцелярию, столько-то на комендантский дом. Лишних — нет. Кипятить воду «просто так» — в глазах осторожных жителей — расточительство, равное преступлению.

— Ваше благородие, — сказал Ерофей, когда я изложил свой план ежедневного кипячения, — дров-то не хватит.

— А если экономить в другом месте?

— В каком?

Хороший вопрос. В каком? Я задумался. В XXI веке я бы открыл таблицу, посчитал расход, нашёл оптимизацию. Здесь таблицы нет. Зато есть — наблюдения.

За десять дней я заметил: печку в моей избе топят дважды в сутки. Утром — сильно, вечером — «на ночь». Между топками — угли тлеют, но тепло уходит в щели. Щелей — много. Стены — бревенчатые, промёрзшие, с зазорами, в которые свистит ветер. Если заткнуть щели — тепло будет держаться дольше. Если тепло держится дольше — можно топить реже. Если топить реже — освободятся дрова на кипячение.

Мох. Стены конопатят мхом — это я видел в казарме. Мой предшественник, покойный Вершинин (точнее — оригинальный Вершинин), видимо, не озаботился: щели в моей избе были законопачены кое-как, местами — вовсе не законопачены.

— Ерофей, — сказал я, — а мох где берут?

— В тайге, ваше благородие. Где ж ещё.

— Сходим?

Ерофей посмотрел на меня. Потом — на мои сапоги (великоваты, стоптаны). Потом — на мою шинель (тонкая для тайги). Потом — снова на меня.

— Сходим, — сказал он тоном человека, который решил: пусть будет что будет.

Мы сходили. Тайга начиналась в пятидесяти шагах от частокола — буквально за забором, — и это было... Нет, подождите. Я должен сказать.

Тайга.

Я видел леса. Подмосковные, дачные, с тропинками и мангалами. Я видел парки — Битцевский, Лосиный Остров, даже Измайловский. Но тайга — это не лес и не парк. Тайга — это стена. Живая, тёмная, пахнувшая смолой, мхом и чем-то первобытным — тем, что было здесь до людей и будет после. Лиственницы — огромные, со стволами, в которые можно влезть, — стояли как колонны. Между ними — подлесок, мох, кочки, бурелом. Тишина — нет, не тишина. Звуки — но другие: скрип деревьев, шорох, капель, где-то далеко — крик птицы. Ни машин, ни гула, ни фона. Ничего. Только мир, каким он был миллион лет назад.

Я стоял — и на секунду забыл всё: XVIII век, тушку Вершинина, кашель, шатающийся зуб. Просто стоял и дышал. Воздух — холодный, мокрый, хвойный — заполнял лёгкие, и лёгкие — впервые за десять дней — не свистели. Или мне показалось. Или — не показалось: хвойный воздух, витамин С, фитонциды, что-то такое — я не помнил подробностей, но тело реагировало. Тело хотело дышать этим воздухом и больше ничего.

— Ваше благородие, — сказал Ерофей, — мох — вон. Рвите.

Я рвал мох. Руками. С деревьев, с кочек, с камней. Набил полный мешок — руки промокли, замёрзли, ногти забились грязью. Ерофей набил два мешка — быстрее, аккуратнее, не глядя.

На обратном пути я нарвал лиственничной хвои. Ерофей спросил — зачем. Я сказал — для отвара. Ерофей промолчал. Молчание номер три — «предупреждение». Или номер два — «несогласие». Я ещё путал.

Вечером — конопатил щели. Руками, ножом, палочкой — запихивал мох в каждую щель, в каждый зазор, в каждую дырку. Три часа. Спина — убита. Руки — содраны. Результат — ощутимый: к ночи в избе было теплее. Не «тепло» — по меркам XXI века это был холодильник, — но теплее, чем вчера. Разница — градусов пять. Пять градусов — разница между «спать в тулупе» и «спать в тулупе, но без дрожи».

Маленькая победа. Записал бы в блокнот — если бы был блокнот. Записал на листе, казенном, но выпрошенном для тренировки письма, так необходимой мне "после хвори". «День 10. Мох. Работает».

Проблема третья — и главная — **люди**.

Кипятить воду я научился. Мох набил. Отвар хвойный сварил — горький, как предательство, зелёно-бурый, с запахом ёлки после Нового года. Ерофей пил с лицом мученика, но пил. Я пил — и радовался, потому что это был витамин С, и мои дёсны, которые уже начинали подозрительно кровить, скажут мне спасибо. Потом. Когда-нибудь.

Но — я один. Один человек с кипячёной водой в остроге, где сто пятьдесят человек пьют из колодца. Один чужак с мхом в щелях, когда остальные мёрзнут и считают это нормой. Один идиот с хвойным отваром, когда все пьют водку.

Если я хочу пережить зиму — мне нужно, чтобы хотя бы ближайшее окружение не болело. Потому что если свалится Ерофей — я остаюсь без единственного человека, который знает, как тут выживать. Если свалится Матрёна — никто не будет готовить, и острог перейдёт на сырую юколу. Если свалится Кукушкин — я останусь один в канцелярии, и Брылкин спросит, почему ведомости не готовы, и мне нечего будет ответить.

Значит — гигиена. Минимальная. Базовая. Мытьё рук, кипячёная вода, проветривание. Три вещи, которые в XXI веке — очевидность, а в XVIII — революция.

Начал с Матрёны. Потому что Матрёна кормит всех — и если она моет руки, автоматически снижается риск отравления для ста пятидесяти человек.

— Матрёна, — сказал я на третий день своего крестового похода за гигиену, — вот что я хотел попросить. Перед стряпнёй — руки бы мыть. С мылом. Или — хотя бы — водой. Горячей.

Матрёна поставила поварёшку. Медленно. Аккуратно. Как человек, который кладёт оружие на стол, чтобы освободить руки для удушения.

— Барин, — сказала она, — я двадцать лет стряпаю. Двадцать. Мужа покойного кормила, детей кормила, весь острог кормлю. И мыла сроду не знала. И живы все. Которые живы.

«Которые живы». Формулировка — шедевр. Статистическая ошибка выжившего, XVIII век.

— Матрёна, я не сомневаюсь в вашей стряпне, — сказал я (дипломатия, Мурашов, дипломатия, она с поварёшкой, ты — без). — Но после лихорадки фельдшер велел — чистота. Иначе — снова слягу. А слягу — кто бумаги писать будет?

Бессовестная манипуляция? Да. Работает? Частично. Матрёна посмотрела на меня с выражением «барин блажит, но пусть его, убогого» — и руки мыть не стала. Но — перестала хвататься за рыбу сразу после того, как чесала собаку. Маленький прогресс. Микроскопический. Но — прогресс.

Кипячённую воду я продвигал тише. Просто — ставил кружку с горячей водой рядом с Ерофеем. Рядом с Кукушкиным. Рядом с Дроздовым, который, к моему удивлению, отнёсся к кипячению с пониманием.

— Разумно, — сказал Дроздов, принимая кружку. — Вода сырая — зараза. Я всегда говорил, да кто ж слушает.

— Вы всегда говорили? — удивился я.

— Ну... — он помялся. — Думал. Думать — тоже «говорить», только про себя.

Дроздов пил кипяток. Дроздов — союзник. Маленький, пьяный, с руками хирурга — но союзник.

Конфликт с Силантием случился на пятый день моего квеста — 7 октября.

Дело было так. Утро. Я пришёл в поварню — вскипятить воду. Мой личный ритуал: встать, развести огонь (уже получалось с пяти ударов, а не с двадцати — прогресс!), набрать воды, дойти до поварни, поставить на общую печь. Десять минут — и вода кипит. Забираю. Ухожу. Не мешаю никому.

Только в это утро — мешал. Потому что у печки стоял Силантий.

Силантий Воронов. Казак. Тридцать пять лет. Здоровый, как медведь, — нет, как два медведя. Ростом — на голову выше меня (а я в теле Вершинина — невысокий). Плечи — как у шкафа (второго шкафа в остроге, первый — Брылкин). Лицо — широкое, красное, заросшее бородой, с глазами, которые смотрели на мир с одним выражением: «А? Чего?»

Впечатление обманчивое. Силантий не был тупым. Силантий был — экономным. Экономил слова, мысли и энергию. Зачем тратить, если можно не тратить? Зачем думать, если можно сделать? Зачем говорить, если можно хмыкнуть?

В это утро Силантий сушил портянки. У печки. На том месте, где я обычно ставил свой котелок. Портянки — мокрые, вонючие, развешанные на палке — занимали всю печь. Мой котелок — поставить некуда.

— Доброго утра, — сказал я. — Силантий... э... мне бы водицы вскипятить. Минутное дело.

Силантий посмотрел на меня. Потом — на свои портянки. Потом — снова на меня. Взгляд говорил: «Портянки. Мои. Печка. Моя. Ты. Кто?»

— Место занято, — сказал он.

Голос — низкий, как у контрабаса. Одно предложение — две ноты. Разговор окончен.

В XXI веке я бы сказал: «Окей, подожду». Или нашёл бы другую печку. Или — в крайнем случае — написал бы в общий чатик: «Коллеги, можно ли установить график использования общей кухни?» Но здесь — нет чатика. Нет второй печки. И «подожду» — значит ждать, пока портянки высохнут, а это час. А через час — мне в канцелярию. А без кипятка — мой ритуал ломается, и день начинается плохо, а плохо начатый день в XVIII веке может кончиться поразному, и все варианты мне не нравятся.

Но — драться с Силантием я не мог. По двум причинам. Причина первая: он вдвое больше меня, и результат предсказуем. Причина вторая: даже если бы я был вдвое больше его — драка с казаком из гарнизона означает жалобу коменданту, а жалоба коменданту означает разбирательство, а разбирательство означает внимание, а внимание — последнее, что мне нужно.

Значит — не драться. Значит — договариваться. Значит — найти то, что нужно Силантию, и обменять на то, что нужно мне.

Бартер. Древнейший протокол.

Я посмотрел на Силантия. На его сапоги — тяжёлые, кожаные, выдавшие виды. На ремень — широкий, потёртый, с пряжкой, которая... стоп. Ремень. Ремень был порван. Не совсем — треснул в одном месте, у самой пряжки, и Силантий перетянул его верёвкой. Временная заплатка. Которая держалась на честном слове и силе привычки.

— Силантий, — сказал я, — ремень-то у тебя — того. Рвётся.

Он опустил глаза. Посмотрел на ремень. Обратно — на меня. В глазах — искра. Не злости — удивления. Приказный заметил ремень? Приказные обычно замечают только бумаги.

— Рвётся, — буркнул он. — Так починить — некому. Шорника в остроге нет.

— А если я почию?

Пауза. Силантий — мастер пауз. Не как Ерофей — выразительных. У Силантия паузы — тяжёлые, как брёвна. Он думал. Медленно, основательно, как бревно плывёт по реке.

— А ты умеешь? — спросил он с сомнением. Справедливым сомнением: приказный, чьи руки в чернилах, чинит кожаный ремень? Сомнительно.

— Умею, — соврал я.

Не совсем соврал. В XXI веке я чинил кожаный ремешок для часов — суперклеем и шилом. Суперклея тут нет. Шило — надо найти. Но принцип — тот же: стянуть, прошить, закрепить. Кожа — она и в XVIII веке кожа. Наверное.

— Починю, — повторил я. — А ты — дашь мне десять минут у печки. Утром. Каждый день. Идёт?

Силантий думал. Долго. Минуту — но минута с Силантием длится как вечность, потому что ты не знаешь, что происходит за этим лицом: соглашается он, отказывается или просто ждёт, пока портянки высохнут.

— Ладно, — сказал он наконец. — Чини. Но ежели — испортишь...

— Не испорчу.

Он снял ремень. Протянул мне. Молча сдвинул портянки — не убрал, нет, сдвинул — и освободил кусок печки. Ровно на котелок.

Я поставил воду. Силантий стоял и смотрел. Вода закипела. Я забрал котелок. Силантий вернул портянки на место. Переговоры завершены.

Теперь — ремень.

Я принёс его в избу и осмотрел. Трещина — у пряжки, в месте, где кожа перегибается. Кожа — бычья, толстая, но старая, пересохшая. В XXI веке — крем для кожи, кондиционер, масло. Здесь — что? Жир. Любой жир. Рыбий? Есть рыбий жир? Спросить у Матрёны — она нальёт, если попрошу нежно и не упомяну мытьё рук.

Шило — нашлось в сундуке (не моём — казённом, в канцелярии, среди инструментов для починки переплётёв). Нить — дратва, вошёная, у Ерофея (он чинил сбрую, у него запас). Жир — рыбий, от Матрёны (обошлось без скандала — я попросил «для обуви», она дала и не спросила).

Починка заняла два часа. Я размягчил кожу жиром — тёр, мял, давил, пока она не стала гибкой. Стянул трещину — совместил края, проколол шилом четыре дырки, прошил дратвой. Крест-накрест, как когда-то показывал мне дед — мамин отец, который чинил всё: ремни, ботинки, стулья, жизни. Дед умер, когда мне было пятнадцать. Я не думал о нём десять лет. А тут — вспомнил. Руки вспомнили: как держать шило, как тянуть нить, как затягивать стежок.

Спасибо, дед. Ты бы тут оценил.

Ремень получился — не идеальный, но крепкий. Шов — грубый, зато — держит. Жир — пропитал кожу, и она перестала трещать. Я ещё промазал шов жиром — для водостойкости (помню? не помню? кажется, это было в каком-то видео про реставрацию кожи) — и оставил сохнуть.

Утром отнёс Силантию.

Силантий взял ремень. Повертел. Потянул — в обе стороны, со всей своей медвежьей силой. Шов выдержал. Пряжка — на месте. Ремень — целый.

Силантий посмотрел на меня. Медленно — как всё, что он делал — на его лице произошло нечто. Не улыбка. Скорее — признание. Как если бы бревно, плывущее по реке, вдруг кивнуло.

— Ладный ремень, — сказал он.

Три слова. Высшая похвала в системе координат Силантия Воронова. «Ладный» — значит хороший. «Ладный ремень» — значит: ты, приказный, оказывается, не совсем бесполезен. Это — карточка «свой», вставленная в систему острога. Маленькая, но работающая.

— Десять минут у печки, — напомнил я.

— Десять, — кивнул Силантий. — Утром. Каждый день. — Пауза. — Ежели ещё чего починить — скажи.

Бартер работает. Полезность = безопасность.

Я записал это на бересте. Углём. Крупными буквами. И приклеил бересту на стену избы — над лавкой. Мой первый мотивационный плакат. В офисе XXI века висели бы постеры со Стивом Джобсом и надписью «Think Different». Здесь — береста с надписью «Полезность = безопасность». Честнее. Прямее. И — вернее. Потом передумал и отправил в огонь, плакаты тут ещё не придумали.

К десятому дню — 12 октября — я подвёл итоги бытового квеста.

Достижения:

Огонь — развожу сам. С пятого-седьмого удара. Ерофей разводит с первого, но я не Ерофей, и мириться с этим — часть моей новой жизни.

Вода — кипячу каждое утро. У Силантьевой печки, по договору. Десять минут, котелок, кипяток на весь день. Пью сам, даю Ерофею, ношу Кукушкину, отношу Дроздову. Четыре человека пьют кипячёную воду. Четыре из ста пятидесяти. Один процент. Но — начало.

Щели — законопатил. В избе — теплее. Ерофей, увидев результат, молча законопатил щели в казарме. Силантий — увидел, что сделал Ерофей, — законопатил свой угол. Вирусный маркетинг, XVIII век. Работает.

Хвойный отвар — варю каждый вечер. Пью сам (горько — но привык). Ерофей пьёт (с лицом мученика — но пьёт). Дроздов пьёт (с интересом — он, кажется, единственный, кто понимает зачем). Кукушкин — не пьёт. Кукушкин не пьёт вообще ничего, кроме воды, и это — ещё одна загадка в моей коллекции.

Мытьё рук — Матрёна руки не моет. Но перестала хвататься за рыбу после собаки. Прогресс? Прогресс.

Проветривание — открываю окно (пузырь) на десять минут утром. Холодно — зверски. Но воздух в избе — чище. Ерофей считает, что я сошёл с ума. Возможно. Но — сошёл с ума и дышу, а не сошёл с ума и задохнулся в дыму.

Потери:

Палец (разбитый при первой попытке с огнивом) — заживает. Медленно. Без пластыря, без антисептика — просто тряпка и надежда. Не загноился — значит, повезло.

Достоинство. Многократно. Каждый раз, когда я прошу Ерофея показать, как делать то, что должен уметь любой взрослый мужчина XVIII века. Каждый раз, когда Матрёна смотрит на меня с выражением «убогий». Каждый раз, когда Кукушкин вежливо молчит, глядя на мой почерк.

Но — жив. Не болен. Не обморожен. Не голоден (юкола — ужасна, но к ней привыкаешь, как к пробкам на МКАДе: не любишь, но смиряешься). Не раскрыт. И — впервые за десять дней — не в панике.

Страх — остался. Не ушёл. Но — отступил. Из первого ряда — во второй. Из постоянного гудения — в фоновый шум. Я больше не просыпаюсь с мыслью «это невозможно». Я просыпаюсь с мыслью «так, что сегодня». А это — другое. Это — рабочий режим.

Рабочий режим — вот что меня спасает. Задача — делать. Проблема — решать. Руки — занять. Пока руки заняты — голова не сходит с ума. Пока голова не сходит с ума — можно жить. Можно жить.

Вечером двенадцатого дня я сидел в избе, пил хвойный отвар (горький, зелёный, родной) — и думал: завтра — канцелярия. Настоящая работа. Бумаги, ведомости, цифры. То, ради чего меня — Вершинина — сюда прислали.

Бумаги. Цифры. Данные.

А я, если помните, — тимлид. Я работаю с данными. Это — моё. Единственное, что я умею делать лучше всех в этом остроге, — это видеть паттерны в цифрах.

Посмотрим, какие паттерны прячет канцелярия Охотского острога.

* * *

Ерофей Кондратьевич Дымов стоял у казармы, курил трубку (табак — чёрный, вонючий, последний запас до весны) и думал.

Думал он медленно и основательно, как делал всё — рубил дрова, чистил ружьё, ходил по тайге. Мысль, как тропа: торопиться нельзя, а то заблудишься.

Приказный.

За две недели Ерофей составил список. Список в своей голове, голова была единственным местом, куда никто другой не залезет.

Список назывался: «Чего приказный не умеет». Длинный получился список.

Не умеет: развести огонь. Намотать портянки. Запрячь лошадь (не пробовал ещё, но Ерофей заранее знал — не умеет). Стрелять. Ходить на лыжах. Рубить дрова. Солить рыбу. Отличить медвежий след от лосиного. Правильно обращаться к коменданту (говорит «ваше благородие» — правильно, но как-то... будто вспоминает каждый раз, будто слова — чужие). Писать пером (Ерофей неграмотный, но видел, как другие пишут, — у Вершинина получалось хуже,

чем у Кукушкина, и хуже, чем у прежнего Вершинина, до болезни). Молиться (Ерофей заметил: приказный крестится, но — неуверенно, будто забыл, какой рукой).

Был и другой список. Короткий.

«Чего приказный умеет, а не должен».

Умеет: смотреть. Так, что видит — всё. Дрова, которых мало. Муку, которой ещё меньше. Ремень Силантия, который порвался. Щели в стенах. Портянки, которые мёрзнут. Воду, которую надо кипятить — и ведь правильно: Ерофей знал стариков-поморов, которые кипятили воду и жили до шестидесяти, а те, кто не кипятил, — не жили.

Умеет: говорить. Не много — но точно. Коменданту сказал про дрова — и Брылкин, старый лис, не рассердился, а кивнул. Силантию предложил бартер — и Силантий, упёртый как бревно, согласился. Матрёне что-то такое наговорил, что она — Матрёна! — перестала чесать собаку перед стряпнёй. Это вообще — чудо. За двадцать лет никто не мог.

Умеет: починить ремень. Откуда? Приказные ремней не чинят. Приказные бумаги пишут. А этот — взял шило, дратву, жир — и починил. Ладно починил. Крепко. Как мастеровой. Откуда?

Ерофей затаился трубкой. Выпустил дым — серый, горький, — и дым унёс мысль в небо. Но мысль вернулась. Упрямая, как он сам.

Приказный — не приказный.

Кто — Ерофей не знал. Беглый? Не похож. Шпион? Смешно — кому шпионить в Охотске, тут и красть-то нечего, кроме юколы. Одержимый? Бывает — лихорадка выбивает одного человека и выпускает другого. Старуха-тунгуска на Камчатке так говорила: «Болезнь — дверь. Кто выйдет — неизвестно».

Может, так и есть. А может — нет.

Ерофей выбил трубку о каблук. Спрятал в карман. Посмотрел на избу приказного — окно светилось тускло, лучина горела.

С придурию. Но — добрый. Шапку надел и не вернул, а Ерофей не попросил. И хвойный отвар — горький, зараза, но дёсны кровить перестали. И «спасибо» говорит — каждый раз, не забывает. За двадцать лет — ни один приказный не говорил «спасибо». Ни один.

Ерофей вздохнул, загадки он никогда не любил.

Глава 5. Бумага всё стерпит.

Через три недели в XVIII веке я наконец-то занялся тем, что умею.

Данные.

Нет, серьёзно — данные. Цифры, таблицы, записи, ведомости. Всё то, что в прошлой жизни я ненавидел (спринт-отчёты, квартальные метрики, KPI по отделам), — здесь оказалось единственным, в чём я лучше всех. Не потому что я гений. А потому что мой мозг — двадцать лет работы с информацией, от школьных олимпиад по математике до финансовых отчётов на работе — заточен под одно: видеть закономерности. Там, где нормальный человек видит столбики цифр, я вижу историю. Кто врёт. Кто ворует. Кто прячет.

Бумаги в Охотской канцелярии были — простите за техническую метафору — базой данных. Без SQL, без индексов, без бэкапов. Бумажная, рукописная, пыльная, мышами погрызенная база данных, в которой хранилось ВСЁ.

Ясачные книги — кто из коренных народов сколько шкур сдал, когда, кому, по какой цене. Промысловые ведомости — какие артели промышленников работали на побережье, сколько пушнины добыли, сколько сдали в казну. Описи амбарные — что привезли, что хранится, что выдали, что «утрачено при транспортировке». Жалованные ведомости — кто сколько получает, кто задолжал, кому казна должна. Подорожные, предписания, рапорты, донесения — всё, что острог писал и получал за последние три года.

Три года — потому что раньше не сохранилось. Мыши, сырость, пожар в канцелярии шесть лет назад, «обстоятельства», как выразился Кукушкин с интонацией, которая говорила: «Не спрашивайте, какие именно обстоятельства». Я не спросил. Пока.

Кукушкин ввёл меня в курс дела — аккуратно, методично, как экскурсовод в музее, где половина экспонатов — ворованные, но об этом не принято говорить вслух.

— Вот, Алексей Иванович, — он раскладывал передо мной стопки, — ясачные книги. Вот — за прошлый год, вот — за позапрошлый. Ваша задача — свести итоги и переписать набело для отправки в Иркутск. Когда отправлять — когда okazия будет. Когда okazия будет — Бог весть. Но готово должно быть загодя.

— Понял, — сказал я.

— Вот промысловые ведомости. Тут — артели, тут — их отчёты. Сверяете с ясачной книгой — чтоб цифры сходились. Если не сходятся — записываете расхождение и докладываете мне.

— А если сходятся?

Кукушкин посмотрел на меня. Тонко. Как повар смотрит на мясо: годится или нет.

— Если сходятся — переписываете набело и радуетесь, — сказал он. — Редкое, знаете ли, удовольствие.

Я сел за стол. Разложил бумаги. Обмакнул перо — почерк за три недели стал терпимым, не красивым, но читаемым, и Кукушкин перестал молча страдать, глядя на мои кляксы. Открыл ясачную книгу за 1785 год.

И — начал считать.

Объясню, как устроен ясак, для тех, кто — как я три недели назад — понятия не имеет.

Ясак — это натуральный налог, который коренные народы (тунгусы, то есть эвенки, а также якуты, нивхи и другие) платят Российской Империи. Платят — не деньгами (денег у них нет), а пушниной: соболями, лисами, песцами, белками. Каждый «ясачный» — взрослый мужчина, обязанный сдать определённое количество шкур в год. Сколько — зависит от «оклада», который устанавливает канцелярия.

Шкуры сдаются казённому сборщику — обычно казаку, которого посылают по стойбищам. Сборщик принимает, записывает, везёт в острог. В остроге — пересчитывают, записы-

вают в ясачную книгу, сдают в амбар. Из амбара — отправляют в Иркутск. Из Иркутска — в Петербург. Из Петербурга — на рынки Европы и Китая. Соболиная шкура, снятая руками тунгусского охотника в тайге у реки Охоты, через два года оказывается на плечах французской аристократки в Версале. Глобализация, XVIII век.

Красиво? Красиво. На бумаге.

А теперь — реальность.

Реальность такова: между тунгусским охотником и французской аристократкой — цепочка людей, каждый из которых отщипывает свой кусок. Казак-сборщик — «забирает» лишнюю шкуру «за хлопоты». Каптенармус в амбаре — списывает пару шкур на «порчу при хранении». Комендант — подписывает ведомость, в которой цифры чуть-чуть не те, что были на входе. Промышленник, который параллельно с ясаком добывает пушнину на продажу, — сдаёт в казну половину, а вторую половину... куда?

Вот этот вопрос я задал себе на третий день работы с бумагами.

Куда.

Считать я начал с простого. Ясачная книга за 1785 год. Стойбище Олдо — я увидел это имя впервые в документах и запомнил — сдало: соболей — двенадцать штук, лис — восемь, белок — двадцать. Итого по книге.

Теперь — амбарная опись. Принято от стойбища Олдо: соболей — десять, лис — шесть, белок — пятнадцать. Разница: два соболя, две лисы, пять белок. Куда делись?

Примечание в книге (почерк Кукушкина, аккуратный, как бисер): «Утрачено при транспортировке вследствие порчи».

Порча. Два соболя испортились по дороге из стойбища в острог. Соболиная шкура — вещь выносливая, не помидор. Она не портится за три дня пути. Она портится, если хранить её мокрой, в тепле, месяц. Но не за три дня.

Ладно. Один случай — не паттерн. Смотрим дальше.

Стойбище на реке Кухтуй. Сдано: соболей — восемь. Принято: шесть. Разница — два. Примечание: «Утрачено при транспортировке».

Стойбище на реке Улья. Сдано: соболей — пятнадцать. Принято: двенадцать. Разница — три. Примечание: «Утрачено при транспортировке вследствие ненадлежащего хранения».

Я листал страницу за страницей. Стойбище за стойбищем. И везде — одно и то же. Сдано — одна цифра. Принято — другая. Разница — от одного до четырёх соболей на каждое стойбище. И везде — «утрачено при транспортировке».

Я считал в уме. Без калькулятора — впервые за пятнадцать лет. Мозг скрипел, как несмазанная петля, но — считал.

Двадцать три стойбища за 1785 год. Средняя «потеря» — два с половиной соболя на стойбище. Итого — около шестидесяти соболей. За год. Списанных на «порчу при транспортировке».

Шестьдесят соболей.

Я не знал точной цены соболя в 1785 году. Но — прикинул по другим записям: в ясачной книге соболь оценивался в два-три рубля. Шестьдесят соболей — сто двадцать — сто восемьдесят рублей. Годовое жалованье коменданта — сто рублей. Шестьдесят «потерянных» соболей — это полтора комендантских жалованья. В год.

Кто-то получал полтора дополнительных жалованья. В соболях.

Я отложил перо. Посмотрел на стену. На стене — ничего, кроме пятна сырости. Но я видел не стену — я видел таблицу. Столбцы: «Сдано», «Принято», «Разница». Строки: стойбища. Итог: шестьдесят.

Шестьдесят.

Это был момент — как в программировании, когда ты наконец видишь баг. Не ошибку — не опечатку, не сбой — а системный баг. Намеренный. Встроенный в архитектуру. Работаю-

щий годами. Кто-то — систематически, аккуратно, из года в год — воровал ясачную пушнину, списывая её на «транспортировку».

Кто?

Вариант первый: казаки-сборщики. Они возят шкуры из стойбищ — они могут «терять». Но — шестьдесят соболей на двадцать три стойбища — значит, все сборщики воруют одинаково. Согласованно. Это — не случайное воровство. Это — система.

Вариант второй: каптенармус. Степаныч, который принимает шкуры в амбаре. Мог недо- считать, мог списать. Но — в ясачной книге расхождение фиксирует не Степаныч, а писарь. Кукушкин.

Вариант третий: Кукушкин. Который ведёт книгу. Который пишет «утрачено при транс- портировке». Который — теоретически — мог менять цифры.

Вариант четвёртый: комендант. Брылкин. Который подписывает итоговую ведомость. Который отправляет отчёт в Иркутск. Который — единственный — имеет власть приказать: «Запишите так».

Вариант четвёртый — самый вероятный. И самый опасный.

Я сидел за столом и чувствовал, как по спине ползёт холодок — и не от сквозняка. От понимания. Я — мелкий приказный, который только что обнаружил, что его начальник ворует. В XVIII веке. На краю земли. Где закон — это комендант, а суд — его настроение.

Донести? Кому? Следующая инстанция — Иркутск. До Иркутска — два месяца. Донесе- ние дойдёт — если дойдёт — через полгода. Проверка приедет — если приедет — через год. За год Брылкин десять раз успеет стереть следы и двадцать раз — стереть меня.

Промолчать? Можно. Безопаснее всего. Но — промолчать значит стать частью системы. Видеть, знать и молчать — это уже соучастие. Не юридическое — моральное. А я, как ни крути, привёз с собой из XXI века одну бесполезную штуку — совесть. Не идеализм — совесть. Разница: идеалист хочет изменить мир. Совесть просто не даёт спать, когда знаешь правду и молчишь.

Третий вариант. Ни донести, ни промолчать. А — запомнить. Зафиксировать. Сохра- нить. На потом. На «когда-нибудь». На момент, когда информация станет не просто знанием, а оружием. Или страховкой. Или — выходом.

Ctrl+S. Сохранить и продолжить.

Следующие дни я работал. Тихо, методично, не привлекая внимания. Переписывал ве- домости — как и положено приказному. Сводил итоги — как просил Кукушкин. Не задавал вопросов — ни одного лишнего. И параллельно — считал.

Промысловые ведомости — второй слой. Артели промышленников: кто, где, сколько добыл, сколько сдал в казну.

Артелей, работавших из Охотска в 1785 году, было четыре. Три — маленькие, по десять- пятнадцать человек: местные, промышлявшие по побережью, соболь и лиса. Четвёртая — крупная, сорок человек, ходила на Алеутские острова за каланом. Каланий мех — золото. Шкура калана в Петербурге стоила тридцать-пятьдесят рублей. На китайском рынке в Кяхте — ещё дороже. Артель сдала в казну триста двадцать каланьих шкур. По ведомости.

Триста двадцать. Запомнил.

Теперь — вопрос, который я задал себе: а сколько они реально добыли? Сорок человек, целый сезон, на Алеутах, где каланов — ещё — много. Я не знал нормы промысла XVIII века. Но — нашёл подсказку в самих бумагах. В прежних годах — 1783, 1784 — были отчёты других артелей, похожего размера. Их добыча: четыреста — пятьсот шкур. За сезон.

Триста двадцать против четырёхсот-пятисот. Разница — восемьдесят — сто восемьдесят шкур. Куда?

«Потери при промысле» — записано в ведомости. «Частью утрачено вследствие шторма, частью — порчены морской водою».

Шторм. Морская вода. Звучит убедительно — для человека, который никогда не был на море. Для меня — не звучит. Потому что в ведомости написано: артель вернулась без потерь (все сорок — живы). Корабль — цел. Если шторм был такой, что смыл сто шкур, — как уцелели люди? Как уцелел корабль? Шкуры хранятся в трюме. Чтобы их смыло — трюм должен быть затоплен. А затопленный трюм — это тонущий корабль. Корабль не утонул. Значит — шторм не при чём.

Сто шкур калана по тридцать рублей. Три тысячи рублей. Годовое жалованье тридцати комендантов. Испарились.

Я сидел за столом, перо — в руке, ведомость — передо мной, а перед глазами — цифры. Красивые, ровные, кукушкинским почерком выведенные цифры, за каждой из которых — украденный соболю, украденный калан, украденный рубль. Система. Не один вор — система воровства, встроенная в отчётность, как вирус в код. Снаружи — всё чисто. Ведомости сходятся. Итоги — подписаны. Печать — на месте. Но внутри — дыра, через которую утекают шкуры, деньги, жизни.

И — вот что главное — дыра была не новая. Я проверил три года. Везде — одно и то же. «Утрачено при транспортировке». «Потери при промысле». «Порчено при хранении». Формулировки — разные. Суть — одна. Кто-то — один и тот же — забирал часть ясака и часть промысловой добычи. Каждый год. Системно. Масштабно.

Кто подписывает итоговые ведомости? Брылкин.

Кто ведёт книги? Кукушкин.

Кто командует артелью, чьи каланы «потерялись»? Этого я ещё не знал. Имени начальника артели в ведомости не было — только номер: «Артель промысловая №3, по указу Охотской канцелярии». Номер. Не имя. Странно? Или — нормально для XVIII века? Я не знал. Но — запомнил.

К исходу второй недели мой почерк наконец-то стал приличным. Не кукушкинский бисер — но читаемый, ровный, без клякс (ну, почти без клякс — одна в два дня, терпимо). Рука привыкла к перу. Тело вспоминало — или я учился заново — но результат был один: я мог писать. Медленно, но верно. Ведомости, которые Кукушкин давал мне «на переписку», я переписывал за день. Потом — за полдня. Потом — Кукушкин начал давать больше.

Это было — хорошо. Больше бумаг — больше данных. Больше данных — больше паттернов. Я чувствовал себя как хакер, получивший доступ к корпоративной базе: каждый новый документ — новый кусок пазла. И пазл складывался.

Но — Кукушкин тоже это чувствовал.

Я заметил на четвёртый день. Он стал задерживаться. Раньше — уходил ровно в шесть (я считал по свечным огаркам — часов не было, но Кукушкин был точен, как часы, и уходил каждый день в одно время). Теперь — задерживался. На пять минут. На десять. Сидел за перегородкой — и скрип его пера прекращался. Он не писал. Он — слушал.

Слушал, как я листаю страницы. Как останавливаюсь. Как возвращаюсь к уже прочитанному. Как — тишина, долгая тишина — считаю в уме. Он слышал всё. И понимал — что именно я делаю.

На пятый день он вышел из-за перегородки. Подошёл к моему столу. Посмотрел на бумаги, которые я разложил: ясачная книга, амбарная опись, промысловая ведомость — рядом, для сверки.

— Алексей Иванович, — сказал он мягко, — я вижу, вы сверяете документы. Это — похвально. Но, позвольте спросить, — зачем?

Голос — ровный, доброжелательный, без угрозы. Но — вопрос. Прямой. Конкретный. Впервые за три недели Кукушкин спросил не «как самочувствие» и не «не надо ли чернил», а — зачем.

— Для порядка, Игнатий Саввич, — ответил я. — Меня просили свести итоги. Свою. А для верности — сверяю с амбарной описью. Цифры должны сходиться — вы же сами говорили.

Он помолчал. Блёклые глаза — за стёклами прищура — смотрели на меня. Не враждебно. Не дружелюбно. Оценивающе. Как хирург смотрит на рентген: что там, внутри?

— Цифры, — повторил он. — Сходятся?

Ловушка. Маленькая, аккуратная. «Сходятся» — и я скажу «да», и он узнает, что я не заметил расхождений (или притворяюсь). «Не сходятся» — и он узнает, что я — заметил. И тогда — вопрос: что я буду с этим делать.

— Почти, — сказал я. — Мелкие расхождения есть. Списания на транспортировку. Ерунда, наверное. Бумаги старые, может, при переписке напутали.

«Ерунда». «Может». «Напутали». Три слова — щит. Я не обвиняю, не расследую, не угрожаю. Я — мелкий приказный, который увидел мелкую ошибку и решил, что это мелкая ошибка. Безопасно.

Кукушкин кивнул. Медленно. Его лицо не изменилось — это лицо вообще не менялось, оно было как маска из папье-маше, одинаковая с утра до вечера. Но — я уже учился читать не лицо, а руки. Руки Кукушкина — в чернилах, длинные, точные — лежали на столе. И — я заметил — безымянный палец правой руки чуть дрогнул. Один раз. Микродвижение, которого он сам, возможно, не осознал.

— Ерунда, конечно, — сказал Кукушкин. — При транспортировке всякое бывает. Тайга, знаете ли. Дикий край. — Он улыбнулся. — Продолжайте, Алексей Иванович. Вы — прилежный работник. Это отрадно.

Он ушёл за перегородку. Скрип пера возобновился. Но — мне показалось — чуть быстрее, чем обычно.

Кукушкин знал. Он знал о расхождениях — знал всегда, все двадцать лет. Он сам эти цифры записывал. Он сам писал «утрачено при транспортировке» — каллиграфическим почерком, аккуратно, ровно. И — молчал. Двадцать лет.

Потому что Кукушкин — не вор. И не герой. Кукушкин — выжившатель. Человек, который понял: знать — можно, действовать — нельзя. Видеть — безопасно, говорить — смертельно. Он сидит в своём углу, пишет свои ведомости и живёт. А те, кто не сидели, — не живут. Всё просто. Всё — ужасно просто.

Двадцать пятое октября. Последний день второй рабочей недели. Вечер. Я сидел в своей избе, пил хвойный отвар (организм привык — горечь уже не замечал) и рисовал на бересте. Не рисовал — чертил. Схему.

Соболя из ясака → «потери при транспортировке» → ?

Каланы с промысла → «потери при промысле» → ?

Знак вопроса — главное. Куда уходили шкуры? Не в воздух — шкуры не испаряются. Кто-то их забирал. Кто-то их хранил. Кто-то — продавал. Не через казну — мимо казны. Контрабанда? Чёрный рынок? В XVIII веке — были ли здесь каналы сбыта?

Я не знал. Пока. Но — знал, что узнаю. Потому что цифры не врут. Люди — врут. Бумаги — врут (если правильно заполнить). Но цифры — если смотреть на все цифры разом, если сводить, если сравнивать — цифры выдают всё.

После того, как брейншторм был окончен, моё средство для временных записей отправилось вслед за плакатом, в пламя.

За стеной — ветер. Октябрь. Холодает. Ночи — длиннее. Дни — короче. Скоро — снег. Ладно. Считаю дальше.

* * *

Писарь Игнатий Саввич Кукушкин не пил. Никогда. Ни капли. Двадцать лет в Охотске — и ни разу. Казаки считали его чудаком. Комендант — подозревал (человек, который не пьёт

на краю земли, — либо святой, либо опасный). Фельдшер Дроздов — уважал (один непьющий на весь острог — статистическое чудо).

Но в этот вечер — 25 октября 1786 года — Кукушкин сидел у Дроздова в лазарете, пил горячую воду (фельдшер пил настойку — свою, медицинскую, от которой, впрочем, лечебного было только название) — и говорил. Тихо. Почти шёпотом. Потому что стены в Охотске — тонкие, а уши — длинные.

— Порфирий Лукич, — сказал Кукушкин, — новенький-то не прост.

Дроздов поднял мутные глаза от стаканчика. Мутные — но не глупые. Дроздов пил, но соображал. Парадокс, который Кукушкин давно перестал пытаться объяснить.

— Вершинин? — переспросил фельдшер. — А что? Вроде тихий. Кипяток носит. Отвар хвойный варит — толковая вещь, кстати. Мне понравилось. Дёсны перестали кровить.

— Не про отвар, — Кукушкин покрутил кружку в пальцах. Пальцы — синие от чернил, тонкие, нервные. — Он считает.

— Все считают.

— Не так считает. Он — сверяет. Ясачную книгу — с амбарной описью. Промысловую ведомость — с амбарной описью. Ведомость — с ведомостью. Лист за листом. Три года подряд. Молча. Не спрашивает. Просто — сверяет.

Дроздов поставил стаканчик. Посмотрел на Кукушкина. В мутных глазах — огонёк. Трезвый, осторожный.

— И что — находит?

Кукушкин не ответил. Посмотрел в окно — темнота, ветер, где-то лает собака.

— Игнатий Саввич, — сказал Дроздов негромко, — вы ведь не про ведомости беспокоитесь.

Кукушкин обернулся. Острые глаза — за близорукостью блёклостью — впились в фельдшера. Секунду. Две.

— Я беспокоюсь, Порфирий Лукич, — сказал он ещё тише, — что он найдёт то, что искать не надо. И что будет потом.

Дроздов кивнул. Медленно. Как человек, который всё понял и не хочет понимать.

— А потом — что? — спросил он.

— Потом, — Кукушкин допил воду, поставил кружку, — потом — либо он замолчит, либо...

Он не договорил. Не нужно было. Оба знали, что бывает с теми, кто не молчит. Оба видели. Не раз.

За стеной лазарета выл ветер — северный, злой, несущий запах снега. Октябрь кончился. Зима — не шла. Зима — уже стояла на пороге, стучала в стены, заглядывала в щели.

— Он — неглупый парень, — сказал Дроздов. — Может, сам поймёт.

— Может, — сказал Кукушкин. — А может — не поймёт. Знаете, что в нём странного, Порфирий Лукич? Он — не боится. Обычные приказные — приезжают, видят цифры, пугаются, молчат, пьют. А этот — не пьёт. И не пугается. И не молчит — нет, молчит, но молчит неправильно. Он молчит, как человек, который думает, а не как человек, который прячется. Разница — огромная.

Дроздов потянулся к стаканчику. Посмотрел — пустой. Вдохнул.

— Присмотрите за ним, Игнатий Саввич, — сказал он. — По-доброму. Он мне хвойный отвар показал. Хороший человек. Жалко будет, если...

— Присмотрю, — сказал Кукушкин.

Он встал. Поклонился. Вышел в темноту — маленький, сутулый, незаметный, как тень от тени. Дверь за ним закрылась без скрипа. Кукушкин и двери умел закрывать бесшумно. Кукушкин всё умел делать бесшумно. В этом — и был его дар. И его проклятие.

Дроздов сидел один. Посмотрел на свои руки — длинные пальцы, не дрожащие. Посмотрел на пустой стаканчик. Посмотрел в окно — чернота.
— Зима, — сказал он никому.
И налил себе ещё.

Глава 6. Сосед, которого не звали.

Лыков прибыл на рассвете двадцать шестого октября — и острог проснулся.

Не от шума. От вибрации. Есть люди, которые входят в комнату — и комната не замечает. Есть — которые входят, и все оборачиваются. А есть — которые входят, и комната становится меньше. Лыков был из третьих. Он ещё не вошёл в острог — он только подходил, со стороны тракта, с обозом из шести нарт, с артелью из сорока с лишним мужиков и десятком собачьих упряжек, — а острог уже знал. По запаху, по звуку, по дрожи в воздухе — как тайга знает, что идёт медведь.

Я стоял у окна — в бычий пузырь много не увидишь, но я уже научился угадывать по звукам. Крик. Лай собак — не тот лай, с которым рыжая бесхозная гавкала на ворон, а настоящий, рабочий, упряжной лай, от которого вибрировал частокол. Скрип полозьев. И — голоса. Много голосов. Грубых, громких, весёлых — так кричат люди, которые пришли с промысла живыми и считают это поводом для праздника.

Ерофей заглянул в дверь. Лицо — обычное, непроницаемое, но что-то в глазах — настороженность? — мелькнуло и пропало.

— Ваше благородие. Лыков пришёл. С артелью.

Лыков. Имя я уже слышал — дважды. Первый раз — от Ерофея, мельком, когда тот объяснял, кто есть кто в Охотске: «Промышленник. Купец. Артель у него — большая. Человечек серьёзный». Второй раз — в бумагах. «Артель промысловая №3» — та самая, чьи каланы «потерялись при промысле». Артель без имени в ведомости. Теперь — с именем.

Степан Прохорович Лыков.

Я оделся, вышел на крыльцо — и увидел.

Перед воротами острога — столпотворение. Нарты — длинные, гружёные, накрытые шкурами. Собаки — десятки, мохнатые, злые, рвущиеся с привязей. Люди — бородатые, обветренные, в тулупах и меховых шапках, с ружьями за спиной и ножами на поясах. Они были похожи на армию — маленькую, грязную, дикую армию, которая вернулась из похода и хочет одного: водки, тепла и бабу. Именно в таком порядке.

И — во главе этой армии — он.

Лыков.

Я узнал его не по одежде (хотя одежда — отдельный разговор: тулуп с бобровым воротником, сапоги из хорошей кожи, шапка соболя — по местным меркам, костюм от Brioni). Не по росту — хотя он был крупный, шире Силантия, с руками, которые могли бы гнуть подковы, если бы в Охотске были подковы. Я узнал его — по пространству. Вокруг Лыкова было пространство. Зона, в которую никто не входил без приглашения. Его люди — сорок мужиков, каждый из которых в одиночку мог бы разобрать мою избу на дрова — держались в трёх шагах. Не из страха. Из уважения. Или — из того, что на Дальнем Востоке XVIII века заменяло уважение: из понимания, что этот человек может тебя убить, и тебя не найдут.

Лицо — бородатое, тёмное от ветра и от природы, со шрамом через левую бровь. Шрам — старый, белёсый, рваный. Медведь? Нож? Не спрошу. Глаза — тёмные, глубоко посаженные, спокойные. Не добрые и не злые — деловые. Глаза человека, который смотрит на мир и видит одно: ресурсы. Что можно взять, что можно продать, кого можно использовать.

Голос — тихий. Вот что меня поразило. Сорок мужиков орут, собаки лают, ветер свистит — а Лыков говорит тихо. И все слышат. Все замолкают. Все слушают. Тихий голос — страшнее крика, потому что крик — это потеря контроля, а тихий голос — это контроль абсолютный.

— Иван Тихоныч! — сказал Лыков, и Брылкин — комендант, начальник, хозяин острога — вышел на крыльцо и улыбнулся. Улыбнулся — как улыбаются старому другу. Или — старому должнику. Или — старому партнёру по бизнесу, который принёс деньги.

— Степан Прохорыч, — Брылкин раскинул руки. — Живой! С промысла! Ну, слава Богу. Они обнялись. Крепко. Как обнимаются люди, которые давно знакомы и у которых есть общие секреты. Я стоял на крыльце своей избы — в двадцати шагах — и смотрел. И считал.

Лыков привёз пушнину. Много пушнины — нарты гружёные, под шкурами. Лыков привёз артель — сорок мужиков, которым нужно жильё, еда, водка. Лыков привёз деньги — не монеты, а шкуры, которые здесь дороже монет. И Лыков обнимается с комендантом — на глазах у всего острога, как равный с равным.

Комендант — государственный чиновник. Лыков — купец, промышленник. В теории — Брылкин выше. На практике — они партнёры. И я знаю — по цифрам из ведомостей — чем они торгуют. Друг с другом. Тихо. Мимо казны.

Лыков повернулся. Обвёл взглядом острог — быстро, цепко, как хозяин осматривает имущество. Взгляд скользнул по казарме, по амбару, по канцелярии — и зацепился за меня.

На секунду. Не больше.

Он посмотрел на меня — худого, бледного, в казённой шинели, стоящего на крыльце, — и его взгляд сказал одно: «Мебель». Не враг. Не союзник. Не человек. Мебель. Табуретка на крыльце. Деталь интерьера, которую можно не замечать.

Я не обиделся. Я — обрадовался. Потому что лучшее, что может случиться с мелким приказным, которого подозрительно интересуют чужие ведомости, — это быть мебелью. Мебель не опасна. Мебель не задаёт вопросов. Мебель — стоит и молчит.

Стоим. Молчим.

Лыков отвернулся. Пошёл с Брылкиным в комендантский дом — обсуждать дела. Артель — расплзлась по острогу: кто в казарму, кто к амбару, кто — сразу к Матрёне, за юколой и кипятком. Собаки — выли, рвались, дрались друг с другом. Рыжая бесхозная собака, умная тварь, забилась под крыльцо канцелярии и не вылезала.

Я вернулся в избу. Сел на лавку. И записал на листе:

«Лыков С.П. Артель №3. Каланы. Прибыл 26 окт. Обнимается с Б. Мебель.»

Мебель — это я. На случай, если забуду.

Следующие три дня Охотск был другим городом. Нет — другим миром.

Сорок промышленников, вернувшихся с промысла, — это сорок мужиков, у которых за плечами полгода в море, на островах, в холоде, в опасности, без женщин, без водки, без ничего. Они вернулись — и хотели всё. Немедленно. Водка — рекой. Еда — горой. Шум — стеной. Острог, привыкший к тишине и рутине, за сутки превратился в что-то среднее между базаром и кабаком. Из казармы — ор, песни, звон посуды (которой нет — значит, били деревянные миски, что тоже достижение). Из поварни — чад: Матрёна стряпала на вдвое большее количество ртов, и её лицо выражало такую концентрированную ярость, что даже лыковские промышленники обходили её стороной.

Я наблюдал. Считал. Записывал — мысленно, потому что казенные листы вечером прятал за печку.

Наблюдение первое: артель Лыкова — не просто промысловая партия. Это — организация. С иерархией, с дисциплиной, с кодексом. Лыков — наверху. Под ним — два «старших», бородатых мужика, которые командовали остальными и которых остальные слушались мгновенно. Под старшими — «работные», которые делали всё: грузили, разгружали, таскали, строили. И отдельно — «вольные». Человек десять, которые держались особняком, не подчинялись старшим, но подчинялись Лыкову. Лично.

«Вольные» — это те, о ком Ерофей сказал: «Люди тёмные, ваше благородие. Чьё прошлое лучше не спрашивать». Ерофей плохого не скажет — но «тёмные» в его лексиконе означало: каторжники, беглые, бывшие разбойники. Люди, которым терять нечего и которых Лыков использовал для работы, которую другие не делают. Какую — я не знал. Пока.

Наблюдение второе: пушнина. Нарты разгрузили — шкуры перенесли в амбар. Я стоял рядом — случайно, конечно, абсолютно случайно, я просто шёл в канцелярию и задержался на секунду, — и считал. Тюки. Связки. Каждая связка — десять-двенадцать шкур. Связок — много. На глаз — очень много. Я насчитал тридцать две связки, прежде чем Степаныч закрыл амбар и повесил замок.

Тридцать две связки по десять-двенадцать. Триста двадцать — триста восемьдесят шкур.

А теперь — вопрос. В ведомости за прошлый год артель №3 сдала триста двадцать калашников шкур. «Потери при промысле» — около ста. Если Лыков привёз столько же, сколько в прошлом году... сколько из этого окажется в ведомости? Триста двадцать? Или — меньше? И куда денется разница?

Я не мог проверить — амбар закрыт, и Степаныч меня не пустит. Но — в ведомости цифра появится. Через неделю, через две — Кукушкин внесёт запись. И тогда — я посчитаю. Снова.

Наблюдение третье — и самое важное: Лыков и Брылкин.

Вечером двадцать седьмого октября Лыков ужинал у коменданта. Я это знал, потому что Ерофей сказал — а Ерофей знал, потому что Матрёна готовила ужин. Два часа. За закрытыми дверями. Что обсуждали — неизвестно. Но наутро Брылкин был весел — непривычно весел, громко здоровался с казаками, даже кота погладил (кот был ошарашен). А Лыков — наоборот — был тих и задумчив. Стоял у амбара, смотрел на замок, что-то считал в уме.

Они поделились. Это было — очевидно. Не юридически, не документально — но очевидно. Лыков привёз шкуры. Часть — в казну (ведомость, печать, отчёт в Иркутск). Часть — Брылкину (рукопожатие за закрытой дверью, ничего не записано, ничего не существует). Брылкин — подписывает ведомость с «правильными» цифрами. Лыков — уходит на следующий промысел. Все довольны. Кроме казны. И кроме тунгусов, которые сдают ясак, — а казак-сборщик тоже берёт свою долю, потому что система — сверху донизу, как гнилое дерево: снаружи — кора, внутри — труха.

Я сидел в канцелярии, переписывал ведомость (новую, по лыковской поставке — Кукушкин дал мне черновик) и чувствовал — нет, не злость. Злость — роскошь. Тошноту. Тихую, ровную тошноту от того, как всё устроено. Как — чисто. Как — аккуратно. Как — каждый знает свою роль и молчит.

И Кукушкин — молчит. Двадцать лет.

И Ерофей — молчит. Потому что — не его дело.

И Матрёна — молчит. Потому что — без Брылкина она кто? Вдова казацкая. Никто.

И Дроздов — молчит. Потому что — ему нужен спирт, а спирт — казённый, и подписывает его Брылкин.

Все — молчат. И система — работает. Не потому что она хорошая. А потому что все молчат.

Я переписал ведомость. Аккуратно. Красиво — почерк, наконец, стал почти приличным. И — ничего не добавил. Ничего не исправил. Ничего не пометил. Потому что — не время. Потому что — рано. Потому что пару листов бумажек за печкой — не доказательство. И потому что я — мебель. Мебель не шумит.

Первая встреча с Лыковым — лицом к лицу — случилась тридцатого октября. Случайно. Почти.

Я шёл из канцелярии в избу — мимо амбара. Лыков стоял у ворот, разговаривал с одним из «старших» — рослым мужиком с рыжей бородой и обмороженными ушами. Я прошёл мимо — и Лыков, не прерывая разговора, посмотрел на меня.

— Это кто? — спросил он «старшего». Не меня. Обо мне. Как о предмете.

— Приказный новый, — ответил «старший». — Вершинин. В канцелярии сидит.

Лыков кивнул. Посмотрел на меня — секунда, не больше — и вернулся к разговору. Для него встреча закончилась. Для меня — началась.

Потому что за эту секунду я увидел — вблизи — то, что не видно издалека. Глаза. Лыковские глаза.

Тёмные, глубокие, спокойные — я описывал их раньше. Но вблизи — другие. Вблизи — в них было то, что я видел у одного человека в прошлой жизни. У моего бывшего генерального директора, который построил компанию с нуля, уничтожил трёх конкурентов, выжал досуха двух партнёров и считал это нормой. У него были такие же глаза — не злые, не безумные. Оценивающие. Глаза человека, для которого мир — бухгалтерская ведомость: актив, пассив, прибыль, убыток. Люди — строчки в ведомости. Кто полезен — актив. Кто бесполезен — расход. Кто мешает — списание.

Я был — нулевая строчка. Не актив, не расход. Ничего. Мебель.

Хорошо. Пусть так. Мебель — безопасно. Мебель — незаметно.

Но — я запомнил. Запомнил глаза. Запомнил голос. Запомнил — как Лыков говорит о людях в третьем лице, когда они стоят в двух шагах. Это — не грубость. Это — мировоззрение. Для Лыкова существуют два типа людей: те, кто важен, и все остальные. Все остальные — фон. Шум. Мебель.

Записал: «Л. — волк. Не злой. Голодный. Видит мир как добычу. Не враждовать. Не мешать. Не попадаться на глаза».

Последний пункт — самый важный.

А потом ударил мороз.

Третьего ноября. Утро. Я проснулся — и не смог вдохнуть. Воздух в избе — даже в избе, с законопаченными щелями, с протопленной на ночь печкой — был такой холодный, что обжигал лёгкие. Изнутри. Как будто кто-то налил кипятка наоборот — ледяного кипятка, который замораживал всё, к чему прикасался.

Я лежал под тулупом — и тулуп не спасал. Холод лез снизу, с пола, через доски, через щели (которые я, оказывается, законопатил не все — фиг с ними, с теми, что у пола, я их не заметил). Тулуп сверху — а снизу — ледяная доска, и между мной и этой доской — только рубаха и штаны, и оба — не греют.

Я встал. Ноги на полу — удар, будто наступил в прорубь. Обулся — сапоги ледяные, портянки ледяные, всё ледяное. Печка — угли ещё тлели, но тепла — ноль. Нет, не ноль — минус. Минус сколько?

Я выглянул в окно. Пузырь — заиндевел. Я отодвинул его — и получил в лицо такой поток холода, что захлопнул обратно за полсекунды. Но успел увидеть: белый мир. Снег — первый серьёзный, плотный, везде. Тайга — белая. Частокол — белый. Небо — белое. И — тишина. Абсолютная. Даже собаки не лаяли.

Минус двадцать. Может, двадцать пять. Точнее — не скажу: термометра нет. Но тело знает. Тело говорит: «Это — опасно. Это — тот холод, от которого умирают».

Ерофей пришёл через десять минут. В тулупе, в валенках — настоящих, войлочных, тёплых, которых у меня не было, — в шапке (моей. Той, которую отдал. Он, видимо, нашёл себе другую). Молча растопил печку — в одно движение, быстро, профессионально. Молча поставил воду. Молча посмотрел на меня — синего, дрожащего, с зубами, которые стучали как пулемёт.

— Зима, ваше благородие, — сказал он. Просто. Как факт. Как «солнце встало» или «рыба в море».

Зима. Вот она. Настоящая. Не октябрьский холодок, не ночной заморозок — зима. Та самая, до которой я боялся не дожить. Дожил. Радоваться рано — теперь надо дожить до весны.

Ерофей принёс мне валенки. Чьи — не спросил. Казённые? Чьи-то старые? Неважно. Валенки — серые, подшитые, тёплые, пахнущие овечьей шерстью и дымом. Я надел их — и мир стал чуть менее враждебным. Чуть. На два-три градуса.

— Ваше благородие, — сказал Ерофей, глядя на мою шинель, — шинелка ваша — не для здешних морозов. Нужен тулуп. Настоящий. Или доха.

— Где взять?

— Купить. Или — выменять. У лыковских. У них — запасы.

У лыковских. То есть — у Лыкова. То есть — я должен пойти к человеку, который смотрит на меня как на мебель, и попросить тулуп. Или — купить. На мои три рубля (минус полтора — на чернила, бумагу и жир для ремня Силантия).

— Сколько стоит тулуп?

— Рубля два. Ежели старый. Новый — три-четыре.

Полтора рубля. Всё, что осталось. За тулуп — два. Не хватает. Не хватает полтинника на то, чтобы не замёрзнуть.

— Ерофей, — сказал я, — а если... обменять? На что?

Ерофей подумал. Пять секунд — вечность по его меркам.

— Работу, — сказал он. — Лыковским грамотный человек нужен. Бумаги, расчёты. Неграмотные они — кроме самого Лыкова, а Лыков считает в уме, но бумаг не пишет.

Грамотный человек. Я — грамотный. Я — единственный человек в этом остроге (кроме Кукушкина), который может быстро написать, посчитать, свести ведомость. Это — мой ресурс. Мой актив. Мой — товар.

Полезность = безопасность. Работает и в обратную сторону: полезность = тулуп.

— Узнай, — сказал я. — Но тихо. Не от моего имени. Просто — узнай.

Ерофей кивнул. Ушёл.

Я остался — в валенках, в шинели, у печки — и думал. Работать на Лыкова — опасно. Ближе к огню. Но — и информативно. Если я буду считать для Лыкова — я увижу его цифры. Изнутри. Не ведомость, отправленную в Иркутск, — а настоящие числа. Сколько шкур привёз. Сколько — сдал. Сколько — спрятал. Это — риск. Но это — и шанс.

Тулуп — за информацию. Тепло — за знание. Выживание — за любопытство.

Сделка с дьяволом? Возможно. Но — в XVIII веке, в минус двадцать пять, без тулупа — сдохнешь быстрее, чем дьявол успеет предъявить счёт.

К пятому ноября мороз устоялся. Минус двадцать — теперь норма. Норма — слово, которое в Охотске означает «терпимо, но едва». Ниже минус тридцати — уже нетерпимо. Ниже сорока — смерть. Пока — двадцать. Терпим.

Острог — изменился. Летний Охотск — грязь, вонь, комары. Зимний — белизна, тишина, лёд. Море — замёрзло. Не сразу, не целиком — кромка, прибрежная полоса, сначала шуга, потом — корка, потом — лёд, плотный, белый, бесконечный. Я стоял на берегу и смотрел: вчера здесь была вода — серая, тяжёлая, живая. Сегодня — камень. Белый камень от берега до горизонта.

Связь с внешним миром — обрезана. Окончательно. Последний корабль ушёл в сентябре. Следующий — в мае. Между — ничего. Ни почты, ни обоза, ни курьера. Восемь месяцев.

Восемь месяцев. Один острог. Полторы сотни человек плюс лыковская артель — итого двести. Двести человек на замёрзшем берегу замёрзшего моря. И — всё. Больше никого. До Якутска — тысяча вёрст тайги. До Иркутска — две тысячи. До Москвы — не считал. Не хочу.

Изоляция — не метафора. Изоляция — физическая, абсолютная, непреодолимая. Если здесь что-то случится — пожар, бунт, эпидемия — помощи не будет. Ниоткуда. Никогда. До весны — сами. Всё — сами.

В XXI веке я боялся пробок на МКАДе. Здесь — я боюсь, что мороз треснет бревно в стене и в избу ворвётся ледяной воздух, от которого лёгкие сожмутся в кулак и не разожмутся обратно. Масштаб страха — несопоставимый.

Но — живу. Пью хвойный отвар (горький, горячий, спасительный). Топлю печку (уже почти мастерски — с трёх ударов). Хожу в канцелярию (короткими перебежками, от двери до двери, потому что ветер на открытом пространстве — как нож). Считаю цифры. Не попадаюсь Лыкову на глаза.

Мебель. Тихая, полезная, незаметная мебель.

Зима — не сезон. Зима — осадное положение. И осада — только началась.

* * *

Степан Прохорович Лыков сидел в комендантском доме и считал. Считал он — в уме. Всегда в уме. Бумагам не доверял — бумаги врут. Люди — тоже врут, но по лицам хоть видно. А бумага — белая, гладкая, молчит. Нет уж.

Каланов в этом году — четыреста двадцать. Сдал Брылкину — триста. В казну по ведомости — двести восемьдесят. Разница — сто сорок шкур. Двадцать — Брылкину, за «крышу», за молчание, за подпись на ведомости. Сто двадцать — его, Лыкова. По тридцать рублей за шкуру в Кяхте — три тысячи шестьсот рублей. Если доставить. Если — протащить через тайгу. Если — продать.

Протащит. Всегда протаскивал. Зимой — нартами, через Якутск, в Кяхту, маньчжурским купцам, которые платили серебром и не спрашивали, откуда мех. Маршрут — наработанный, пять лет, ни разу не спалился. Люди — надёжные. «Вольные» — те, которые тёмные, — возили. Знали маршрут. Знали — что за язык бывает. Молчали.

Лыков допил настойку. Брылкинскую, на кедровых — горчит, но крепка. Посмотрел в окно — темнота, мороз, тишина. Хорошо. Тишина — значит порядок. Значит — всё работает.

Единственное, что чуть — чуть-чуть, на самом краю — тревожило: канцелярия.

Не Кукушкин. Кукушкин — свой. То есть — не свой, но прикормленный. Двадцать лет молчит — и ещё двадцать будет молчать, потому что ему не надо ничего, кроме покоя. Кукушкин — мебель. Удобная, безопасная мебель.

А вот — новый. Вершинин. Тот, что после лихорадки.

Лыков не разговаривал с ним. Видел — раз, мельком, у амбара. Мелкий. Бледный. Чиновничек. Ничего.

Но — один из «старших», Гришка Бородин, сказал: «Новый приказный — считает. Шибко считает. Бумаги — перебирает. Ведомости — сверяет». Гришка не умён, но наблюдателен. Гришка замечает.

Считает. Сверяет.

Лыков поставил стаканчик. Провёл ладонью по бороде.

Считает. Ну — пусть считает. Что он найдёт? Ведомость — чистая. Кукушкин — мастер. Цифры — сходятся. Следов — нет. Нечего находить.

А если найдёт?

Лыков посмотрел на свои руки — большие, тёмные, с мозолями от весла и ножа. Руки, которые умели всё: снять шкуру, связать узел, свернуть шею. Руки, которые — если понадобится — умели решать проблемы.

Не понадобится. Мелкий приказный. Мебель. Ничего.

Лыков встал, поклонился Брылкину, вышел в мороз. Мороз — двадцать два. Лыков не поёжился. Лыков не мёрз. Лыков — шёл через острог, и острог — расступался. Зима. Это было его время.

Гл

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.